

## ЧУЛЫМСКИЕ БЫЛИ

Часть 1.

### Переселение в неизвестность

Весна тысяча девятьсот тридцать первого года на хлеборобном юге Красноярского края, где, бывало, палку в чернозем воткни - прорастет, шествовала своим чередом, как столетия и тысячелетия тому назад: пашня обнажалась от снега, и под ласковыми лучами солнышка над нею, приметно глазу, волнисто струилось прозрачное марево. Гомонливое птичье племя справляло всюду влaziны (новоселье); на лесных полянах начинала зеленеть трава, и желто влекла людской взор сон-трава и лилово - медуница, а позже, в начале лета, те же поляны огненно полыхали жарками (огоньками); а в ледоход на седом от древности Енисее из степного левобережья Хакасии пасшиеся там всю зиму огромными стадами сплошным потоком устремились в правобережные леса и горную тайгу косули-самки, своим благородством, точеным телом, тонкими и стройными ножками, изящными головками на длинных шеях, похожие на ланей, а самцы с огромными ветвистыми рогами - на оленей. Они по плывущим малым и большим льдинам, срываясь в студеную воду, цепляясь острыми копытцами за них и снова возносясь над гибельными прорвами в многометровых прыжках. Не все достигали заветной цели, но зато те, что оказывались в летних обиталищах, не только воспроизводили былое поголовье, но и множили его. Со скалистых берегов срывались бурноводные и грохочущие устрашающие потоки бесчисленных речек и ручьев в великую реку.

Но непривычно стронулась, взбурлила и вздыбилась всегда ранее степенная и деловитая весна людская, десяток лет после гражданской войны входившая в спокойное русло: перед нею, каждый год долгожданной, всю зиму в больших крестьянских домах и сельсоветах по ночам тревожно галдели сельские сходы, на них уполномоченные из края, городов и районов - посланцы новых малышевых, а нередко, и сами малышевцы. Местные комбедчики горячо звали хлеборобов в непонятные образования - колхозы.

По ночам же взбудораженными и шумливыми ватагами, распугивая сонных собак, ходили по крестьянским избам, совали под носы хозяев готовые заявления о вступлении в эти самые колхозы и требовали немедленно подписать эти бумажки, а тех, кто отказывался, стращали завтра же сослать в Туруханский и Нарымский края. По ночам же вызывали особо и не особо упорствующих в сельсоветы, превращая их в пугало на долгие десятилетия вперед, стучали по столам рукоятками наганов и револьверов, запирали на любой срок в холодные амбары, а многих отправляли в те далекие края и там месяцами и годами держали в каталажках, немало из них расстреливали. А весной, когда земля звала к себе хозяина, дерзкими разбойными бандами те же уполномоченные и комбедчики, вечные батраки, носились по селам в поисках мифического золота и спрятанного хлеба, вышвыривали на улицу хозяев, не щадя ни стариков, ни больных, ни малых детей, ни больших семей, отбирали лошадей, коров, остальную живность, сельхозинвентарь, хлебные запасы до последнего зернышка и даже скудные пожитки, растаскивали по своим батрацким развалюхам и общим дворам, грузили выселенцев на подводы. И те нескончаемыми потоками двигались всю весну и все лето в Абакан и Ужур, где раскулаченные набивались в товарные вагоны, как скот, и эшелон за эшелон устремились сперва на север, а потом на запад, до станции Ижморской, что в Кузбассе. Здесь хлеборобов снова грузили на подводы и

везли опять на север, до Чулыма, где возле села Зырянского скапливались, прямо на берегу, многие тысячи семей.

Зырянский пересыльный лагерь - это травянистый и болотистый сырой луг, где в воздухе по летнему времени мириадами толкся и гудел гнус: комары, мошка, овод, паут. Они набивались в глаза, нос, рот, до крови разъедали людскую кожу. От всего этого нечем было дышать, невозможно уснуть, спокойно похлебать скудную казенную похлебку.

Лагерь был окружен большой сворой вооруженных конвоиров войск НКВД. Несколько метров в сторону - уже побег и грубое водворение на отведенную территорию. И так все лето.

Семьи были в большинстве без глав - мужей и отцов. Везли сюда лишь стариков, женщин и детей, а главы семей находились в тюрьмах и лагерях Туруханского и других краев.

Время от времени от берега отчаливали буксирные пароходы с баржами, трюмы и палубы коих были набиты спецпереселенцами и их скудным скарбом, чудом не разграбленным комбедовцами и уполномоченными из края и районов. Крестьян увозили вниз и вверх, и вглубь тайги Зырянского и Асиновского районов, в Зачулымье, которое в то время относилось к последнему. Так, строя своими руками стандартные барачные поселки, вековечные хлеборобы и скотоводы, испокон веков кормившие род людской и в Сибири, и в России, и в Европе, переквалифицировались в лесорубов и сплавщиков.

Тысячи и тысячи крестьянских семей Картаузского, Курагинского, Усинского, Абаканского, Воградского и других районов юга Красноярского края расселялись в таежных дебрях Чулымского края, обреченные на голод, на поголовное вымирание, которое началось еще в Зырянском береговом лагере.

Сегодня, протрезвев и сообразив, что произошло на рубеже двадцатых и тридцатых годов двадцатого столетия, насильственную коллективизацию, затеянную с чудовищной жестокостью проведенную Сталиным и сворой его приспешников, назвали раскрестьяниванием страны. Оно имело две стороны, ставшие черными пятнами в человеческой истории.

Первая - так называемое поголовное ограбление и объединение крестьянства в коллективные хозяйства - колхозы, с энтузиазмом подхваченное беднотой потому, что оно сулило хоть и кратковременные, но немедленные выгоды посредством раздела имущества крепких хозяев, нажитого многолетним трудом и соленым потом.

Вторая - ликвидация кулачества как класса. Если бы это было так! Под него попали многие миллионы самых трудолюбивых крестьян, не только кормивших свою страну, но и производивших на продажу за границу продовольственное зерно, льняное волокно, сибирское и российское масло, другие продукты питания и сельскохозяйственное сырье. При выселении с десятилетиями обжитых мест они, кормильцы, были начисто ограблены.

Такое легкое и безнаказанное обогащение за счет соседей-односельчан оказалось исключительно привлекательным для коллективизаторов. Но скоро часть их превратилась в палачей другой части. Они с той же легкостью, как еще недавно грабили "кулаков", теперь убивали тех, с кем создавали колхозы, причем самых ярых и активных коллективизаторов: председателей, бригадиров, ударников. Убивали равнодушием, доносами. Убивали, расстреливая и мучая голодом в тюрьмах и лагерях. Количество перешло в качество: от

грабежей - к убийству. Многих и многих расстреляли и превратили в “лагерную пыль”, соревнуясь в палачестве в угоду “отцу народов”.

Таково было двойное деление - начало и конец тридцатых годов. Но и на этом грабеж и раскрестьянивание не закончились. В Уголовном Кодексе России навсегда осталась статья о конфискации имущества, по которой грабят не осужденного, а его семью, оставляя ее без средств к существованию. По данным Томского областного Комитета госбезопасности, в пик раскрестьянивания (1930 г.) была расстреляна большая масса крестьян.

Последствия этого явления мы теперь видим - наша богатая и гигантская страна превратилась в устойчивого потребителя чужого хлеба, добытого за рубежом.

### **По рассказу Елизаветы Леонтьевны Шестаковой и ее сына Виктора Максимовича**

Дико голосила Елизавета, сорвала голос, подгибались колени, но все бежала по улице в темноту, падала, вставала, слыша, как все тише стучат по укатанной дороге колеса, а на удаляющейся телеге под охраной вооруженных людей увозят мужа Максима и свекра Василия Яковлевича. А позади, в тесной избе, тоже заревываются от горя свекровь и пятеро ребят, мал-мала меньше, старшенькому Васе - одиннадцать годков, да вот шестой, поди-ка зашевелится, заявит о себе.

Арестовали их в числе многих “кулаков” и отправили в Минусинск, а какие кулаки Шестаковы, когда всего богатства - десятина земли, лошадь да корова. Еще была швейная машинка “Зингер”. За нее-то и зачислили Максима - и бондаря, и столяра, и плотника, и шорника, и сапожника, и портного - грамотного крестьянина в мироеды. Все это и сгубило мужика. Много у него было завистников из-за этого, не могли они ему простить, отомстили под горячую руку. И на оставшуюся без кормильца членов семьи легло клеймо мироедов, обрекающее их на вечное выселение с давно обжитых мест.

Оно коснулось Шестаковых через месяц, в июле, тогда лишь Елизавета узнала, что муж со свекром уже в Туруханске и там водворены в тюрьму.

Председатель сельсовета вызвал Елизавету и предложил:

- Можешь избежать высылки, если откажешься от мужа-кулака.
- Как же я могу от него отказаться, от кормильца?
- Гляди, предлагаю ради твоих малых, - леденящим голосом отрубил председатель и отвернулся от молодой, упрямой двадцатидевятилетней женщины, но добавил:
- Хотел тебе добра.
- Твое добро - хуже зла, - нашла в себе силы сказать председателю.

Она знала, что ее муж никакой не кулак, и сама до замужества была в няньках у себя в селе Еленинском, и сюда, в Силкино, вышла за Максима Шестакова прямо из няnek. Всего богатства - пятеро детей, и шестой вот ожидается.

Обоз был длинный, и на всех телегах - короба. В один из них и усадили ее со свекровью и ребятами. "Зингер" почему-то не отобрали, и она накрепко вцепилась в машинку в горе и беспомощности. Все слезы за месяц после ареста мужа и свекра выплакали.

Над дорогой свисал уже зрелый лист березы, пора было ломать веники. Светило жаркое летнее солнышко, но молодая женщина ничего не видела и не замечала ни перед собой, ни по сторонам, не слышала птичьего щебета в остающихся навсегда позади рощах. В ее глазах все было темным и безысходным. Не замечала смены дней и ночей, пока доехали сперва до Абакана, а потом и до реки Чулым.

Поблизости от луга, пестрящего безбрежным множеством палаток, навесов и шалашей, виднелось село Зырянское. Из разного тряпья и веток соорудили и свой балаган. Вокруг шли разговоры о том, что повезут еще дальше, в темную тайгу, где даже человеческого жилья близко нет, а гнуса еще больше, чем тут.

Шли недели, однако с отправкой комендант не торопился, а кругом творился один страх: плакали голодные дети, они умирали и от водянки, и от кровавого поноса; их смертям, как и стариков, казалось, не будет конца.

Елизавета Леонтьевна боялась за своих, ее малыши тоже плакали от голода и от страха, она сама недоедала, отдавая им весь свой скудный казенный паек: болтушку и лепешки из муки да жиденькую кашу из выданной им по норме крупы. От страха избавляла их, прижимая поплотнее к себе, как курица цыплят, успокоительно гладила по головкам, а сама прислушивалась и уже слышала в себе новую жизнь. От этого в саму вселялся страх, хотя молодая мать еще не предвидела того по-настоящему ужасного места, куда их привезут. Да и можно ли предвидеть дикую тайгу и никакого жилья, только опять такой же самый шалаш, как и тут. А уже подступала осень. Скорее бы уж добраться до места, чем ждать страшного здесь, среди этих сырых кочек, гнуса и смертей. Только бы выжили дети.

Не одна неделя прошла, пока вновь подогнали подводы, погрузили в них скарб, малых детей и немощных стариков, переправились на пароме через Чулым и двинулись вглубь тайги.

Сперва попадались небольшие лоскутки пашни, зажатые лесами и перелесками, но на половине пути началась сплошная тайга и гривны сосновые боры.

Лишь через двое суток начали разгружаться. Вокруг простиралась гарь: пырей да обугленные пни и завалы валежника. Воды взять негде - до реки Чичка-Юл больше километра.

Разгружались по районам: одним из первых - Индринский. Из него прибыли Шестаковы. Как и возле Зырянки, опять построили шалаш, но тут подкатали морозы. Елизавета Леонтьевна кое-как выкопала землянку, в ней и зазимовали.

В этой землянке у Максима, еще сидевшего в туруханской тюрьме, и Елизаветы Леонтьевны появился шестой ребенок - Виктор. Он родился 30 декабря 1931 года.

Однако голодная смерть грозила этой семье. На выручку пришел отец Елизаветы - Леонтий, поздней осенью на своей лошади он приехал на гари, привез кое-какие продукты, забил лошадь, а сам пешком ушел обратно - в Еленинское. Без этого не выжили бы. В строящемся поселке свирепствовала смерть.

Свекра и мужа освободили из тюрьмы в конце зимы, и под весну они, тоже пешком, пришли в уже построенный на горях барачный поселок Майский. К Пасхе из землянки Шестаковы перешли в барак.

Поблизости построили себе поселок хакасы. Его назвали Февральским.

### **По рассказу Елизаветы Матвеевны Донцовой**

Деревня Ильинка в Курагинском районе Красноярского края появилась в 1900 году. Ее основали переселенцы из Харьковской и Херсонской губерний. Деревня была небольшая и стояла в сорока верстах от Курагина и в сорока - от Минусинска.

Семья Стояновых Матвея Павловича и Лукерьи Никитичны состояла из восьми человек. В этой семье и родилась в 1902 году Елизавета Матвеевна.

Матвей Павлович был человеком мастеровым: мог себе и другим сделать тележное колесо, телегу, сани, печь сложить, одежду любую сшить. Но и хозяином был крепким - одних лошадей держал восемь голов. За них его в 1930 году и арестовали. Срок отбыл в Иркутской области, трудился там на лесоповале.

В двадцатилетнем возрасте в 1922 году Елизавета Матвеевна вышла замуж за Василия Корнеевича Донцова, тремя годами постарше ее. Обе семьи - Стояновых и Донцовых, занимались хлебопашеством, но земли было мало, и молодоженам в хозяйстве Донцовых было делать нечего.

В селе жили бездетные Федор Макарович Доценко с женой, но они были уже престарелые, и сами со своим хозяйством управляться не могли. Эти добрые люди и пригласили к себе на жительство молодую чету Донцов.

К 1931 году у Донцовых было уже четверо детей, а сам Василий Корнеевич три года как болел. В деревне был уже колхоз, но он в нем работать не мог, часто находился в Минусинске, в больнице, а у Елизаветы Матвеевны на руках были годовалый Ванечка и двухлетняя Наденька.

Именно, когда Василий Корнеевич находился в больнице, у стариков Доценко отобрали избу, и все оказались на улице.

- Наверное, у них был большой дом? - спрашиваю у Елизаветы Матвеевны.
- Кухня и горница, - отвечает.

Она с детьми скиталась по разным пустующим избушкам, а Василий еще лежал в больнице. Малыши, один за другим, умерли, остались только шестилетняя Анечка и четырехлетний Сема. Единственного коня и корову у Донцовых отобрали, однако председатель Степан Чернов велел получить за нее 30 рублей деньгами. Правда, при обыске их отобрали, и 20 мая 1931 года погрузили на подводу и Василия Корнеевича, вернувшегося из Минусинска, и Елизавету Матвеевну с детьми. Соседи-односельчане дали на дорогу кто пятерку, кто тройку.

Обоз с выселенцами - ильинцами двинулся в Абакан, сюда по всем дорогам, сливаясь в один нескончаемый поток. Шли они в мае и июне, и все лето.

В телячьих вагонах было душно и тесно. От станции Ижморка снова ехали на подводах до Зырянки. Еще в Ижморке их встретил комендант. Здесь, на берегу Чулыма, куда прибыли после Троицы, пробыли полтора месяца. Натерпелись тут голода, насмотрелись смертей.

Дальше, на гари, ехали вместе с идринцами, но те остались на левом берегу Чичка-Юла, а курагинцев по залому перевезли на правобережье.

Вначале построили примитивную палатку, накрыв каркас из колев домоткаными половиками. В ней прожили до самых октябрьских холодов - Покрова.

Сюда же вместе с Донцовым привезла мать Елизаветы Матвеевны Лукерью Никитичну, пятнадцатилетнего брата Ивана и сестер-подростков Анну и Лиду, а также стариков Доценка.

Все вместе построили один шалаш на десять человек, обложили снаружи дерном, посередине сбили глиняную печку, а по сторонам устроил нары: на лежанки из бревнышек постелили доски, наколов их из сосновых сутунков.

Но еще в палатке заболели тифом сестра Анна и дети Елизаветы Матвеевны. Спали в шубах и валенках, было много вшей. И холод. Елизавета Матвеевна и Василий Корнеевич по очереди отогревали сынишку, прижав к себе. А Лукерью Никитичну сразу угнали в низовья Чулыма, в тайгу на подсочку - сбор сосновой смолы-живицы.

— Так и зазимовали в балагане, - вспоминала Елизавета Матвеевна, - а весной нас перевезли в Вознесенку. Это была небольшая старожильческая деревня.

### **По рассказу Петра Ильича Ботева**

Илью Ботева, крестьянина деревни Можорка Курагинского района Красноярского края, арестовали в 1930 году. И стал сибиряк строителем Беломорканала. Или каналармейцы, как изобретательно назвала группа советских писателей во главе с Максимом Горьким заключенных, поглядев, как те с принудительным энтузиазмом возводят одну из первых строек коммунизма.

Остались дома шестнадцатилетний сынишка Петька, жена и тесть. Весной 1931 года в Можорке впервые перепахивали межи между единоличными земельными наделами первые колхозники. Перед этим жиденькая демонстрация сельских активистов сплошной коллективизации, правда, густо пронизанная ликующими ребятами, ходила по деревне с красными флагами и лозунгами: “Даешь счастливую и зажиточную жизнь в колхозах!”

Петр теперь был единственным здоровым человеком в семье, находился на седьмом небе: ему нравилось все происходившее в деревне в эту весну. Они с матерью тоже вступили в колхоз. Делали все, что могли и что заставят.

Однажды, во второй половине мая, председатель послал его в Курагино, в межколхозсоюз за бланками бухгалтерских документов.

Стояли теплые и солнечные дни. Между деревнями всюду по обеим сторонам дороги новоиспеченные колхозные колхозники пахали поля, привыкая к общественному труду. Непривычно было, как десятки мужиков ходили с плугами друг за другом в ряд по одному полю. Коллективный труд! Все сообща! Радостно билось сердце подростка.

К Можорке Петр подходил, когда утро еще не перешло в день. Было уже двадцатое число мая. Березовые леса и перелески в это утро вдруг запылали нежным зеленым светом. Пронизанные солнечными лучами, они были невиданно красивыми, и, заглядевшись на эту сказку, он не сразу обратил внимание на вереницу подвод, вытягивающуюся из родной деревни. Только когда непонятный обоз поравнялся с подростком, на одной из телег он увидел мать, сидящую на каком-то домашнем скарбе. Он кинулся к ней:

– Ты куда, мама, уезжаешь?

Петр видел ее заплаканное лицо и ничего не мог понять, а она снова завсхлипывала, объясняла, глотая слезы:

– Да, вот, увозят...

– Куда увозят?

– Сказали, в Нарым.

– За что?

– А, кто их знает? - отрешенно отозвалась мать и добавила: - Говорят, отец твой за вражьи дела угнан.

– А ты-то чем виновата?

– Кабы я это ведала. Отец твой тоже ни в чем не провинился, а угнали ж.

– Я поеду с тобой! - решительно сказал Петр и запрыгнул на телегу, примостившись возле матери.

– Да куда ж ты, сынка? Живи тут с дедом. Его пока не высылают. И, наверное, не вышлют. Он к нашей семье не причастен.

– Я без тебя оставаться не хочу! - затвердил свое решение подросток. - Вместе с тобой поеду в Нарым.

Мать громко и неутешно заплакала.

Когда подъехали к Абакану, Петр увидел, что в него, заполняя улицы, со всех сторон входят бесконечной длины обозы с такими же несчастными, как они с матерью, и удивился, что так много “кулаков”. А на телегах плакали маленькие дети, озлобленные от отчаяния и горя кричали и шикали на них матери, угрюмо и тупо уставлены были в никуда глаза стариков и старух.

До конца жизни подросток запомнил потом эти реки слез и разлитый океан горя людского, увиденного особенно тогда, когда они с матерью ожидали, пока их поместят в вагоны и отправят дальше. Тысячи и тысячи крестьянских семей заполняли привокзальную

площадь и прилегающие к ней улицы, окруженные вооруженными охранниками. К их винтовкам были приткнуты штыки.

– Да за что же на нас такая беспричинная кара навалилась? - вопрошала мать.

Разные южные районы края - Абаканский, Воградский, Каратузский, Курагинский, Усинский и другие скучивались тут плотной массой, не желая рассеиваться по разным эшелонам. Большой группой жалась друг к другу раскулаченные хакасы, их тоже увозили в Нарым.

Хакасы попали в один товарный состав с курагинцами.

На станции Ижморка Кемеровской области (административное деление современное. До 1943 г. Кемеровская область входила в Новосибирскую) объявили разгрузку уже новые коменданты, которые потом сопровождали до места и стали там их надзирателями. Среди них был и будущий комендант по фамилии Воровский, пожилой человек в форме НКВД.

Тут же спецпереселенцев размещали на подогнанные к путям крестьянские подводы из окрестных сел. Угрюмые возницы, оторванные от полевых забот, были злы и неприветливы, поторапливали с погрузкой на телеги поклажи. Ехать на подводах разрешалось только дряхлым старикам и малым детям, а остальные шагали за ними пешком.

Сразу за станцией начались поля, и всюду крестьяне шумно и кучно перепахивали межи. А у тех, кого провозили мимо, щемило и кровоточило сердце, тупое недоумение стлыло на зареванных лицах. Потом был кочковатый, утрамбованный тысячами ног берег Чулыма и огромный лагерь, окруженный плотным кольцом вооруженных конвоиров. Был конец мая, а многие десятки тысяч исконных хлеборобов томились тут, не пахали, не сеяли. Уже знали, что повезут в глухую зачулымскую тайгу.

Лишь в начале июля подошли подводы из заречных деревень - Медодата, Калиновки, Линды. Крестьяне на них были русские и эстонцы.

В Зачулымье поля встречались лишь небольшими лоскутками, занятые сосновыми борами, березняками, осинниками, болотами, а за Линдой, в тайге, их вовсе не стало. И все большее сжималось сердце хлеборобов и хакасов-скотоводов, привыкших к вольной степи.

До Волянки и Зимовского - сорок верст кряду, не было и деревень.

За таежной речкой Чичка-Юл простирались обширные захламленные и затравленные гари. Тут им сказали:

– Жить будете здесь!

Начали ладить шалаш, а когда наступили осенние и предзимние холода, обложили их дерном. Шалашы были большие - один на три-четыре семьи. Мужчины принялись расчищать место, валить лес и рубить бараки. Их перегораживали посередине и в каждой половина опять размещали по три-четыре семьи, но еще многие зимовали в холодных землянках, обогреваемых часто лишь костром, в копоты. Но и бараки из свежего были сырые и холодные.

Ботевы оказались на втором участке, где первым комендантом был Садовский, но они часто менялись, после него - Боровский Иван Васильевич, затем - Чиндин.

С первых дней на горях началась большая смертность среди детей и стариков; холод, голод, болезни косили людей.

К нашей беседе, когда я нашел в конце 1989 г. Петра Ильича Ботева в Асине, подключилась и его жена Мария Артемьевна. Она рассказывала:

– В 1933 году на наш участок пригнали молодежь с Волги - из Астрахани, Саратова. За что их взяли, никто из них не знал. Но люди они были общительные, веселые - плясуны и песенники. Однако они-то, в основном, и страдали здесь от голода, холодов (одежда на всех была легкая), а летом - гнусная. Расцарапывали руки и ноги до крови, вносили заражение. От всего этого они погибали. Моя сестра Анна работала медсестрой в больнице. Она каждый день с третьего участка ходила на второй, а это восемь километров. И всякий раз она рассказывала, что их трупы по всей дороге лежали, как поленья. А люди были грамотные. Были среди них братья - Иван, Петр, Василий Лихачевы, все бухгалтеры.

Позже я узнал, что Лихачевы были не с Волги, а с Дона. Оказались среди этой группы люди даже из шолоховской станицы Вешенской.

Рассказавший мне об этом работник Первомайского отдела милиции майор Александр Иванович Лихачев (позже он стал народным судьей) уточнил:

– Мой отец - Иван Михайлович, был с Дона, а мать- с Волги. На участок их пригнали молодыми, там они и поженились.

Много лет я знал Ивана Михайловича Лихачева, он не одно десятилетие, после ликвидации спецкомендатуры и участков, работал главным бухгалтером в сергеевском колхозе, и никогда не догадывался о том, что перенес этот человек и что он с Дона. В те годы многие были строгими судьями “кулаков”, оказавшихся в Зачулымской тайге, Нарыме и других местах Сибири, потому что просто не знали истинной правды. Потому и одобряли ликвидацию “кулачества” как класса, одобряли раскрестьянивание.

### **Воспоминания Александра Трофимовича Ерохина:**

– У моего отчима - Вячеслава Петровича Ерохина, отец был купцом в Казани. Кроме Вячеслава Петровича, в их семье были его братья Александр и Константин, сестры Марина и Нина.

Студентом отчим влюбился, но отец не разрешил ему жениться на любимой девушке - она была из бедной семьи. Вячеслав уехал из дому в Красноярский край, в заенисейской тайге, в деревне Тюхтет вырыл себе землянку и жил в ней одиноко много лет.

После революции и смерти отца его братья и сестры переехали в Минусинск. Они решили поделиться с Вячеславом Петровичем отцовским наследством, но тот от него отказался. Он не боялся никакой работы и решил собственным трудом зарабатывать на свое существование. Вячеслав Петрович в Тюхтете организовал артель, которая имела кожевенный, смолокуренный и пихтоваренный заводы. Будучи председателем этой кооперативной артели, он работал на производстве наравне со всеми. Но через несколько лет кооператив распался. Однако отчим с этим не смирился, а создал новую артель - по подсочке и добычи живицы (сосновой смолы). В начале коллективизации эта артель была ликвидирована, а у нас сразу же отобрали дом.

На высылку нашу семью отправили позже, когда подводы с “раскулаченными” уже ушли их Тюхтета. Едва отчиму объявили, что и нас высылают, он заторопился. Он срубил плот, погрузили мы на него кое-какие семейные пожитки и двинулись самосплавом вниз по речкам Кизыру, Амылу и Тубе, в Енисей. Отчим спешил, чтобы догнать остальных спецпереселенцев в Абакане.

Дед по матери - Семен Андреевич Шепелевич, запротивился и не хотел отпускать меня с родителями куда-то к черту на кулички. Мать моя Мария Семеновна соглашалась с ним, но отчим меня отговаривал, убеждал ее и деда:

– Где есть люди, там можно и жить.

Он был трудягой, жизнелюбом и неисправимым оптимистом. И я увязался за матерью и отчимом. Было мне тринадцать лет.

Мы догнали в Абакане и односельчан, и всех остальных “кулаков”, выселенных из нашего и других районов юга Красноярского края. От Зырянки до Зимовского и дальше, в глубь тайги, ехали через деревни Змеинку (Городок), Медодат, Калиновку, Линду. К концу лета добрались до места. За Монастыркой переправились через Чичка-Юл и оказались в горах. Вокруг - ни жилья, ни людей. До большого села Пышкино-Троицкого сто десять - сто двадцать километров. Загрузились на берегу речки Вознесенка. Место назвали вторым участком. Как и на первом, через который проезжали, принялись ладить шалаши, а к зиме наша семья в склоне материкового берега, который мы назвали “горой”, вырыли землянку, рассчитывая в ней зимовать.

Комендант Чиндин жестокий был человек, с раннего утра выгонял женщин на раскорчевку гарей, а мужчин - на лесоповал и держал там до поздней ночи. На полуголодном пайке они валились с ног, заболели, а в землянках и шалашах металась в жару и бреду больные тифом дети.

Своими силами переселенцы сразу же начали рубить бараки. На втором участке к весне были построены близко друг от друга три больших поселка: Ключевский, Березовский и Осиновский. В первом обосновались переселенцы из Картаузовского района, во втором - из Курагинского, в третьем - из Богградского. Два первых были на “горке”, а третья - внизу, на пойме речки. Поставили барак и открыли в нем начальную школу. Она была в центре между этими поселками.

Дальше, в основном в старожильческих поселках, находился третий - Сухореченский участок.

На всех участках были образованы неуставные колхозы. На нашем участке он назывался “Красным лучом”. Их обеспечили семенами зерновых культур, рабочим и дойным скотом.

Голод и эпидемии свирепствовали первые два года, особенно в летнее время, когда люди получали дополнительное питание за счет трав и ягод, и тогда начиналась дизентерия. Из нашего, Березовского поселка, ежедневно выносили на кладбище по пятнадцать-семнадцать гробов, в большинстве - детских.

Первым председателем колхоза у нас был Егор Ефимович Зиновьев, а потом его сменил Матвей Яковлевич Прилуцкий. Это были умные и хозяйственные мужики. Уже на

третий год голод был ликвидирован, на участке появилась больница, школа преобразовалась в семилетнюю.

### **Люди на горях**

На первом участке, кроме Майского и Февральского, построили поселок Чичка-Юл. Все они тоже были расположены поблизости друг от друга. А между ними стояла школа.

Все поселки были многолюдными. О количестве спецпереселенцев, оказавшихся на этих горях в результате сталинской политики раскрестьянивания, мне рассказал старожил села Пышкино-Троицкого (Первомайского) Родион Андреевич Истигичев, в 1937-1938 гг. работавший на втором участке заведующим Ключевской больницей:

– Тысяч десять их туда привезли в 1931-1932 годах.

На проходивших 18-20 апреля 1989 г. в Томске областных краеведческих чтениях выступил научный сотрудник Новосибирского Академгородка Сергей Александрович Красильников. Он привел архивные сведения о количестве спецпереселенцев, привезенных в Томскую область в октябре 1931 году. Только на территорию Ново-Кусковской спецкомендатуры, в которую в то время входила и территория нынешнего Пышкино-Троицкого (Первомайского) района, в том числе, и названные три участка, прибыло 12044 человека - взрослых, стариков и детей. И большинство из них оказалось именно на этих трех участках.

К маю 1932 г. число жителей в поселках, относящихся к этой комендатуре, сократилось на 722 человека. Небольшая часть из них, была возвращена на прежние места жительства, главным образом - больные и старики, некоторое количество спецпереселенцев совершила побеги, но основное количество погибло от болезней, голода и холода.

Но в 1932-1933 годах продолжалось пополнение участков новыми спецпереселенцами. Мною уже упоминались прибывшие с Волги и Дона. Последние были по призыву “паспортизации” всей страны.

Снабжение же спецпереселенцев продуктами питания было предельно скудным: на душу выдавались в день по 300 граммов хлеба, 50 граммов крупы, 15 граммов сахара и 9 граммов растительного масла. Но масла не хватало, и оно выдавалось лишь для детей до 12-летнего возраста.

На все три участка имелась одна больница, правда, она была неплохо укомплектована медперсоналом, были: хирург, зубной врач, другие специалисты. В начальный период, до 1937 г., это были военные медики. Младший и средний медперсонал (медсестры) подбирались из спецпереселенцев, имеющие семилетнее образование.

Начальные школы были на каждом участке. В них тоже работали учителя из спецпереселенческой молодежи.

### **Петр Ильич Ботев в беседе со мной рассказывал:**

–В конце 1932 года меня взяли на курсы учителей, которые были организованы в селе Сергеевке. На них набрали человек около семидесяти с семилетним - десятилетним образованием, девушек и юношей. Правда, курсы были краткосрочные - проходили всего

один месяц. Когда я вернулся в поселок Ключевский, в одном из бараков убрали внутреннюю перегородку, и сказали:

–Это - школа.

На каждом участке комендатура установила строгий режим: спецпереселенцам без разрешения нельзя было отлучаться даже со своих участков, не говоря уже о том, чтобы выходить и выезжать в район и дальше. Это были лагеря, не обнесенные забором из колючей проволоки. Впрочем, таким же лагерем была вся страна.

В 1939 году у Александра Трофимовича Ерохина, уже учившегося в Томском музыкальном училище, во время летних каникул произошел конфликт с комендантом Беспаловым. (В 1989 году последний был еще жив, и я с ним встречался в феврале того же года, и он, конечно, ничего о том конфликте “не знал”).

Кто-то донес, что Ерохин все лето сидит дома, а на работу не ходит. Комендант вызвал парня на допрос. Об этом узнала мать Александра - Мария Семеновна, кинулась на выручку сыну и упала перед Беспаловым на колени, умоляя не привлекать его к ответственности. Но комендант на нее стал кричать и выгонять из кабинета.

Александр не стерпел, схватил стул и замахнулся на Беспалова, но задел за стену, а там висел портрет Ленина, и он сдвинулся в бок. Через некоторое время состоялся скорый суд. Однако истец предъявил иск ответчику не за покушение на свою жизнь, а за повреждение портрета, то есть по политической статье. Суду ее доказать не удалось, и Александр был оправдан.

И все-таки, в декабре того же года состоялся пересуд. Мария Семеновна отпрашивалась у коменданта в село Пышкино-Троицкое, которое было уже районным, на суд, но он не отпустил. Тогда мать ночью самовольно ушла с участка, но на полпути ее задержали и вернули. За это ее судили и приговорили к полутора годам заключения. Она отбывала срок в лагере, в Томске. Лагерь находился на том месте, где теперь территория завода “Сибэлектромотор”. Правда, Александр подал кассацию, и через три месяца Марию Семеновну освободили.

### **Коменданты**

Поселковые коменданты непосредственно подчинялись участковой комендатуре, которая вначале размещалась в селе Сергееве, а позже была переведена в село Пышкино-Троицкое, где для нее построили двухэтажное здание. Оно стояло на том месте, где теперь находится мемориальный памятник первомайцам, погибшим в годы Великой отечественной войны. Участковым комендантом был Григорий Павлович Чучкалов. Александр Трофимович Ерохин некоторое время, еще мальчишкой, был у него кучером. Секретарем в участковой комендатуре работал Макаров, экономистом - Кумеркер.

Поселковые коменданты были офицерами НКВД в чине майора. Пышкино-Троицкую участковую комендатуру возглавляли офицеры в звании до полковника.

По воспоминаниям Ивана Дмитриевича Поданева, в 1935-1936 годах, работавшего директором Чичка-Юльского детского дома НКВД, комендантом Пышкино-Троицкой участковой комендатуры в те годы был полковник Собин - писатель, драматург, автор пьесы “Тарантас”. Родом он был из села Половниково в Алтайском крае, где работал в коммуне “Майское утро”. Кстати, в селе Половниково родился космонавт-2 Герман Титов. Собин был

большим интеллектуалом, любил детей, мимо детдома никогда не проезжал. С трудопоселенцами, как официально назывались спецпереселенцы, был вежлив, корректен. Возможно, благодаря всем этим его личным качествам спецпереселенцы томского Зачулымья испытали меньше различных бед по сравнению с теми, которые находились в Нарымском крае.

Заместителем коменданта был подполковник Березин или Берзин (И.Д. Поданев хорошо его фамилию не запомнил).

В участковой комендатуре были отделы: финансовый, возглавляемый Козловым; товарно-снабженческая часть (ТСЧ); культурно-воспитательная часть (КВЧ) - ее начальник Ярыгин; по воспоминаниям И.Д. Поданева, “прекрасный, эрудированный человек лет тридцати”.

Замечу, что у многих людей за давностью лет теперь строго субъективное мнение о том времени, все зависит от того, кто в каких условиях жил тогда. Большинство из них находятся в плену виденного лично ими. Например, одна моя старая знакомая, прочитав в областной газете “Красное Знамя” мой очерк о таежном детдоме, ужасно возмутилась:

– В то время я была пионеркой, и нас возили в этот детдом на показательный семинар. Там была просторная и великолепно оформленная пионерская комната, много музыкальных инструментов и даже пианино, всюду зеркала. Да у меня об этом детдоме остались самые светлые воспоминания. И вдруг такие черные краски!

Зато она не рассказывала, чьи дети содержались в этом детдоме, что там был сын расстрелянного Каменева. Она не рассказала о том, что она работала впоследствии в Ключевской больнице, а затем была первым секретарем райкома комсомола в селе Пышкино-Троицком, и знающие ее старожилы района поминают ее как доносчицу, которая подвела под расстрел и лагерь многих невинных людей в районе. Позднее А.И. Акаченков много десятилетий была научным сотрудником областного партийного архива и немало сделала для фальсификации истории своими публикациями в областной газете “Красное Знамя” и журнале Томского обкома партии.

Кстати, около десятка работников Пышкино-Троицкой участковой комендатуры в 1937 году были арестованы и расстреляны.

Вот так же в свое время советские довоенные зрители воспринимали документальный фильм о соловецких лагерях, снятый по заказу Сталина. И не догадывались, что это - фальсификация. А некоторые еще и теперь отрицают сталинские фальсификации, принимают за чистую монету.

В том же очерке я писал, что детей в детдоме плохо кормили и одевали. Тут же посыпались контрфакты: мы, вольные, были хуже одеты, чем детдомовцы, хуже питались. Отчасти это и верно, но на нас, вольных, не лежало клеймо “врага народа” или сын, дочь, жена “врага народа”, мы, вроде бы, не были репрессированными.

А если все-таки лучше разобраться? Я считаю, что весь советский народ был репрессирован, колхозники и “вольные” люди тоже ведь дочиста ограблялись сталинским государством, они постоянно дрожали, еженощно ожидая, что придут и заберут. Все, поголовно, дрожали.

Палачи тоже были разные: одни помягче, другие пожестче, но все верно служили одному режиму. И разными людьми они воспринимались по-разному. Для одних это - "большие интеллектуалы и эрудированные люди", как для И.Д. Поданева, а для других, как Мария Семеновна Ерохина, - палачи, ни за что ни про что загнавшие многие тысячи семей в глухую тайгу, арестовавшие и расстрелявшие ее мужа, а ее саму загнавшие в лагерь. Сегодня их вообще не выделишь в общей массе, а тогда, во время своей ударной, стахановской кровавой работы, для собственных детей были они милыми и дорогими отцами...

### **Новый виток репрессий**

В 1933 году в России проходила насильственная паспортизация населения всей страны. Всюду отлавливали беспаспортных, и эшелон за эшелоном увозили в Сибирь.

В Зачулымье попали цыгане, и здесь коснусь лишь оставшихся сиротами их детей.

В начале 1937 года Вячеслава Петровича Ерохина перевели в деревню Калиновка и назначили заведующим постоянным двором, в котором по пути на участки и обратно останавливались ответственные работники спецкомендатуры. А уже в конце сентября того же года он был арестован. Повод для ареста был найден легко и просто. В.П. Ерохин был очень простым и общительным человеком, к нему тянулись крестьяне Калиновки "на огонек". Он научил многих из них играть в шахматы, вот они и собирались "позабавиться" длинными зимними вечерами после тяжелой сельской работы. Ерохин был обвинен в контрреволюционной агитации. Для следователей-фальсификаторов это была золотая находка. Вскоре Вячеслав Петрович Ерохин был расстрелян.

В 1937 году, - рассказывал Александр Трофимович Ерохин, - арестовали моих сверстников и друзей - Павла Макарова и Александра Фролова. О дальнейшей их судьбе я ничего не знаю.

Особенно масштабно был почищен от "врагов народа" поселок Майский, где был неуставной колхоз "Путь Октября". Здесь арестовали первого председателя колхоза Демьяна Григорьевича Потылицина, бригадира Филиппа Евдокимовича Лебедева, кладовщика Василия Багаева, колхозника Егора Тропина. Никто из них не вернулся.

Разумеется, приведенный список этими именами не исчерпывается. К великому сожалению, он, наверняка, со временем пополнится. Ведь все названные люди были взяты по линии НКВД лишь из двух поселков, не считая старожильческих, в которых тоже жили спецпереселенцы, в таких, как Монастырка, Пономаревка, Вознесенка и другие. Ни один из них не был обойден.

Было бы несправедливо не сказать, что из спецпереселенцев вышли замечательные люди. Это Герой Советского Союза Григорий Яковлевич Дмитриев и сын расстрелянного в 1937 году Филиппа Евдокимовича Лебедева, бригадир механизаторов колхоза "Первое Мая" - Валерий Филиппович Лебедев, лауреат Государственной премии.

### **Как создавали цыганский колхоз**

В конце мая 1933 года столица и подмосковные города и села вели повседневную жизнь: рабочие трудились на заводах и фабриках, писатели сочиняли книги тиши кабинетов, творили композиторы, певцы исполняли их песни о свободной и вольной жизни в семье советских народов, кинематографисты снимали жизнерадостные фильмы. Но, кажется, больше всего было работы в народных комиссариатах, особенно в таком грозном, как НКВД.

Здесь не ограничивались уже грабежом крестьянских сусеков на всей Украине, России, Сибири; стояла задача привить любовь к паспортной системе. Началась всесоюзная облава на беспаспортных, хватали их, где ни попадя, в том числе трамваях, прямо на улицах, в церквах, при входе из дома. И увозили на станцию Москва-Товарная к подготовленным вагонам.

Цыган отлавливали семьями и в одиночку. Целыми таборами. Вот уж где была пожива так пожива! Переловили почти всех поголовно. И ограбили. Забивали эшелон за эшелон людьми до отказа, увозили свободный и свободолюбивый народ на восток, а Сибирь.

Вот так. Ворожили, угадывали судьбы других, а свою - не угадали. Недаром Сталин считался непревзойденным знатоком “национального вопроса”. Правда, в 1933 -м он только еще примерялся в порядке “эксперимента” к практике переселения целых народов и наций, к войне против собственного народа. Войне широкомасштабной, глобальной. И цыгане, пожалуй, стали едва ли не первым народом в этом дьявольском эксперименте. Впоследствии геноцид против цыган успешно использовал и Гитлер, вернейший и последовательный ученик Сталина.

Цыган везли на восток по Транссибирской магистрали. Они пели и плясали. А дети просили есть. Только скудным был паек из лагерной баланды. И были это еще цветочки, а ягодки маячили впереди. Сколько цыган прибыло в Томск, а затем в Асино, теперь установить невозможно. Больше половины их погибло дорогой - от голода, издевательств вооруженной охраны, расстрелов при побегах. Но живы немногие свидетели, кто и помог раскрыть правду, какую-то часть ее. Вот их страшные и простые рассказы.

Из воспоминаний Павла Ивановича Волкова (ныне покойного), бывшего директора Рождественской средней школы Пышкино-Троицкого (ныне Первомайского) района Томской области

В конце июля 1933 года я возвращался с летней сессии в Томском университете, где учился заочно. На Успенской паромной переправе застрял на целых шесть часов, так как на левом берегу скопилось не менее тысячи подвод, груженных цыганским скарбом, стариками и детьми. Их переправляли на правый берег и разгружали на Борисовой горе. Разговорился с некоторыми:

– Ой, батенька мой! Похватили нас, собаки-менты, где ни попадя, да всех в вагоны. До табора не дали дойти за барахлом...

– Те собаки не пропадут, - подхватил другой цыган. - Они в Москве остались вместе со своими проклятыми хозяевами, а нас к черту на кулички отправили, где Макар телят не пас...

Подводы распрягли и на паром вручную втягивали повозки, а потом лошадей заводили. Ну, цыгане и тут цыганами оставались. Облепят повозку человек тридцать - орут, стараясь перекричать друг друга: - “Давай, чавалы, давай!” Но ни один не толкает, а лишь паромщики да хозяева подвод надрываются...

На Борисовой горе цыгане провели все лето, а поздней осенью их отправили в тайгу, где километрах в ста от Чулыма им был построен поселок Евстигнеевка. так он был назван, видимо, по имени старообрядца или старовера, жившего на этом месте...

Как-то вместе с председателем рождественского колхоза “Новый мир” Павлом Андреевичем Рыжаковым ездили в Асино. На обратном пути, пока переправу искали по молодому льду, наша лошадь убежала снова в Асино. Павел Андреевич за ней пошел, а я - к Успенскому парому в надежде, что он еще ходит. Догоняет меня пожилой мужик и кричит:

- Бежим скорее!
- От кого?
- Бандит гонится, зарежет же!
- Тогда беги один, - советую ему, а мне на одной ноге за тобой не угнаться.

Мужик убежал, а я сел на колодину и закурил. Тут из кустов выбегает огромного роста цыган. Тоже запыхался. Он поздоровался со мной и спросил:

- Далеко ли переправа?
- Туда и иду. Только бежать, как вы с тем мужиком, не могу. Одна нога - деревянная...
- А, тот дурак-то?
- Убежал.

По дороге цыган рассказал свою историю. Табор стоял в Подмосковье. Выкопал ведро картофеля в огороде дачника. Дали три года. После жалобы освободили, но попал в облаву. Увезли в Сибирь. А в Подмосковье остались жена и двое малолетних сыновей. Вернулся к семье, а ее вместе с табором тоже сюда отправили. Вот и прибыл он за ними добровольно, искать их. Подсказали ему добрые люди, что все Подмосковные цыгане на Борисовой горе находятся.

Так за разговором дошли мы до устья пересохшей курьи, за которой и была Успенская переправа. Устье было глубокое, берег крутой. Я никак не мог забраться на него со своей деревянной ногой. Тогда цыган взял меня за руку и помог подняться на яр. Паром еще ходил, но ждать его с правого берега пришлось долго. Все ожидающие изрядно проголодались. У местных рыбаков мы купили рыбу, у цыгана в мешке нашелся котелок, две деревянные ложки, кружка и соль. Сварили уху. У Рыжакова была горбушка хлеба, разделили ее по-братски. Стали есть. Тут подошел тот человек, который убегал от цыгана, отозвал в сторону и брезгливо спрашивает:

- Вы едите из одного котелка?
- А что тут такого? - тоже удивился я.
- Он же - бандит!

Такое тогда бытовало отношение к ссыльным и бывшим заключенным, нагнетаемое властями, особенно, НКВД.

После переправы цыган долго жал нам руки и все повторял:

- Вы - настоящие люди! Не побрезговали цыганом!

Я так и не узнал, - закончил свой рассказ П.И. Волков, - что случилось с цыганом потом, в целом судьба всех цыган сложилась трагически. Вольные, степные люди они в первые же две зимы таежного Зачулымья, а морозы стояли под пятьдесят, практически все погибли. Я имею в виду взрослых цыган, а часть уцелевших детей поместили в детские дома.

\* \* \*

Из воспоминаний Родиона Андреевича Истигечева, старожила района, работавшего в 30-х годах заведующими Ключевской больницей, обслуживавшей спецпереселенческие поселки, поблизости от цыганского поселка Евстигнеевка:

– Цыган охраняли вооруженные работники НКВД. Однако цыган было так много, что конвоиры за всеми не могли уследить. Они разбрелись по ближним деревням воровать кур и гадать. Деревенский народ лишился былого покоя. В помощь комендатуре мобилизовали пышкинскую молодежь, комсомольцев. Нам выдали по пять патронов и боевые винтовки, расставили цепью вокруг Борисовой норы, велели никого не выпускать. В оцеплении мы стояли до самой зимы, пока цыган не вывезли в тайгу. Хотели там создать цыганский колхоз, приучить к колхозной жизни. Думали, что из такой никуда не убегут...

Из воспоминаний Александра Трофимовича Ерохина, бывшего воспитателя таежного детского дома, где содержались дети погибших цыган:

– Евстигнеевку построили километрах в пяти от села Зимовского в сосновом бору, за речкой Чичка-Юл. Это более 90 километров от Пышкина-Троицкого. Возводили ее спецпереселенцы и колхозники, согнанные из окрестных деревень и поселков. За одно лето срубили три большие улицы барачных бараков. Но цыган оказалось очень много - думаю, не менее 30 тысяч. Поэтому расселили их и в других селах. Одни работали на лесоповале, а большинство - на раскорчевке гарей под земли будущего колхоза. Начали работу дружно, стаскивали хворост и коряги в костры. Но едва огонь разгорался, рабочий пыл пропадал. Начинались песни и пляски у костров на всю тайгу. И не прекращались до конца рабочего дня...

Старшим у цыган был некто Петренко. Нагловатый и нахрапистый, он воздействовал на коменданта Евдокимова, где хитростью, где угрозой. В конце 80-х - начале 90-х годов этот Евдокимов был еще жив, проживал в Асино. Я его посетил. Но он ничего не сказал. В годы комендантства, говорят старожилы, он был очень крутым человеком, свирепствовал над спецпереселенцами. Вот написал "человек" и мысленно покаялся. Эти палачи, собственно, не были людьми, они были двуногими нелюдями. Петренко обычно говорил Евдокимову:

– А, гражданин начальник, слышал бы ты, что говорят о тебе цыгане. Бока грозят до смерти намять, голову открутить и ноги повидергать.

Впоследствии Евдокимова арестовали и осудили.

После Евдокимова комендантом стал Жеба - здоровенный украинец, двуногий ещё более твердый.

Явился к нему Петренко с испытанными угрозами. Выслушал его комендант. Потом достал из одного кармана револьвер, из другого - браунинг и предупредил:

– Сначала в вас разряжу все, а последнюю пулю себе оставлю.

На следующий день толпа цыган, вооруженная палками, топорами, ломами подступила к комендантской избе:

– Гражданин начальник, дай хлеба, ребятишки пухнут с голоду, как мухи мрут. Не дашь - разнесем тебя вместе с домом!

Жеба вышел на крыльцо и говорит:

– Все, что положено из хлебного пайка, вы получите полностью. Расходитесь!

Однако цыгане продолжали угрожать и требовать. Тогда комендант выстрелил вверх. Толпа распалась, люди разбежались. Так закончился единственный бунт цыган в Евстигнеевке. Но цыгане почти ежедневно разбегались из поселка. Зимой не выдерживали на морозе. Кружили поблизости. В тайге потом находили кучи костей замерзших людей”.

Из рассказа старожила района Антона Антоновича Селевича:

”В 1933 году мой отец Антон Никифорович. Живший тогда на Ломовицких хуторах, был мобилизован на перевозку цыган с Борисовой горы в только что выстроенный поселок Евстигнеевка. Привезли их из центральных областей России. Отцу досталась большая семья. Женщины всю дорогу спрашивали его:

– Куда везешь нас, батенька?

– Куда мне сказано, туда и везу - в Евстигнеевку...

Приехали, а цыгане не хотят слезать. Мужчины пристали:

– Батенька ты наш, продай жеребенка. Вишь, ребятишки совсем голодные.

– Да берите его даром, - отвечает отец. - Только детей мясом накормите, и меня отпустите скорей: не могу больше видеть их, голодных...

И еще отец добавлял, что множество подвод было мобилизовано на перевозку цыган. Крестьянские подводы протянулись от самой Борисовой горы до Евстигнеевки, на все девяносто верст. И в то лето на Борисовой горе погибли от голода сотни человек.

Свидетельствует Иван Дмитриевич Поданев, бывший директор детского дома:

– Смертность среди цыган была огромной. Зимой для них не успевали копать могилы. Комендант распорядился относить тела умерших подальше от поселка и закапывать в снег. Весной в поселке началась эпидемия...

Часть 2

## Таежный детдом

### О чем рассказал архив

Из-за массовой смертности спецпереселенцев на участках и, особенно, цыган в Евстигнеевке, там оказалось очень много сирот. Перед органами НКВД, и, в частности, перед Пышкино-Троицкой участковой комендатурой, встал вопрос: куда их девать? Поскольку это были дети “врагов народа”, решили открыть детские дома на месте и держать их под своим контролем. Не хотели этот факт придавать огласке.

Вначале было образовано сразу два детских дома: для цыганских детей в опустевших вымороченных бараках Евстигнеевки, и для всех остальных - в поселке Февральском, специально полностью освободив его от живших там хакасов, которых переселили на остальные участки. Одновременно на первом участке, в центре между тремя поселками - Майском, Февральском и Чичка-Юлом, началось строительство для детского дома большого двухэтажного здания. И, видимо, не без загляда в будущее.

А теперь заглянем в архив: книги приказов, списки воспитанников, их личные дела.

С нетерпением, торопясь узнать побольше об этом детском доме, вчитываюсь в книгу приказов по Чичка-Юльскому детскому дому - так он стал официально называться после переселения в новое здание сирот из поселков Февральского и Евстигнеевки.

Что я в ней хотел найти?

Прежде всего, сведения о людях - директоре, воспитателях и других сотрудников детского дома, их отношения к своей работе, а значит, и к детям, а также, по возможности, кое-что узнать о воспитанниках.

Книга приказов оказалась заведенной не со дня образования хотя бы одного из существовавших до возникновения единого детских домов. Приказ № 1 издан 6 октября 1936 года. Заведующим был Иван Дмитриевич Поданев. Часто, во время отсутствия, его замещал заведующий Чичка-Юльской начальной школой Петр Ильич Ботев. С 9 января 1937 года заведующим детским домом стал Дмитрий Павлович Таусенев.

Приказом № 42 от 16 февраля 1937 года произошло слияние Евстигнеевского детского дома с Чичка-Юльским. Вместе с частью воспитанников (некоторая часть их была переведена в Вороно-Пашенский детский дом) сюда были переведены воспитатели: Ворошилова Ф.П., Низовцева З.С., Баранова А.И. и Ерохин А., повар Константинова Е.И., прачка Молчанова М.Г., уборщица Кадочникова, конюхи Озеров П.И. и Константинов.

Сохранившаяся книга приказов по Чичка-Юльскому детскому дому оборвалась на приказе № 154 от 3 февраля 1938 года.

Коллектив детского дома имел 20 штатных работников, но они часто менялись. Достаточно сказать, что с 1934 по февраль 1939 года сменились три заведующих и один директор (вначале руководители детского дома именовались заведующими, а затем - директорами).

Многие работники халатно, а то и вовсе плохо относились к своим обязанностям, а некоторые даже преступно. Всего за период с 6 октября 1936 по 3 февраля 1938 года за это уволено 18 человек - от уборщиц до воспитателей и других должностных лиц.

Так, завхоз Шенин И.Ф. и воспитатель Напалков Г.Г. были арестованы и осуждены за хищение имущества детского дома, уборщица Абдуланова уволена за халатное отношение к работе и хищение вещей, воспитательница Мошковцева А.Я. - за то, что не сопровождала детей в школу, они ходили без обуви, обморозились. Воспитательница Гороховская А.К. была уволена за то, что обзывала детдомовских детей (“подлецы, воры, черти, змеи, сволочи...”). Воспитательницу Бишеву Ф.Л. уволили тоже за то, что она обзывала воспитанников, именуя их “цыганский образина”, “татарский мулла” и другими оскорбительными словами, а воспитательницу Низовцеву З.С. - за то, что ставила, наказывая, детей на улице в холодное время на 2-3 часа, грубо относилась к ним.

В целом же коллектив детского дома выполнял свою задачу по воспитанию детей ответственно и добросовестно. В его коллективе было много замечательных людей, душевных.

Для подтверждения этого приведу выдержку из письма Ф. Алфутовой-Заозерской, ветерана труда, отличника народного просвещения: - “...Директором детдома тогда был Таусенев (звать - забыла), старшим воспитателем Вяльцев Николай Владимирович, а его брат Степан Владимирович работал в школе учителем. Это замечательные ребята, особенно Николай Владимирович. Он был очень хорошим работником, вся воспитательная работа детдома тогда лежала на нем. Он был строг и добр, ребята его уважали и любили.

Запомнились воспитатели Хамицевич Алиса, Бережная Люба, Никитина, Ворошилова, Тарзимякова Дуся, Гуцало Василий Прохорович. Воспитательский коллектив был очень сильный, дружный, молодой.”

Правда, воспитатели имели порой невысокое образование - от начального до девятилетнего, но преимущественно - семилетнее.

И заработная плата у них даже по тем временам была не просто низкая, а мизерная. Как видно из штатного расписания, половина сотрудников получала в месяц от 6 рублей 50 копеек до 8 рублей 50 копеек.

Точной даты образования детдомов на участках и в Евстигнеевке мне не удалось восстановить, но можно предположить, что в поселке Февральском он был открыт не позднее начала 1934 года.

За время их существования, включая единый Чичка-Юльский детский дом, то есть до 22 марта 1939 года, сменилось шесть заведующих и директоров: Желеховская Анна Лукинична, Поданев Иван Дмитриевич, Таусенев Дмитрий Павлович, Одегов Владимир Иванович, Сидоров Константин Иванович и Чернявский Михаил Иванович. Возможно, что Одегова звали Иваном Ивановичем.

Среди сотрудников детского дома было много людей, подвергшихся сталинской репрессии- раскулачиванию. Это мое утверждение основано также на сообщении Ф. Алфутовой-Заозерской: - “Техперсонал больше был из спецпереселенцев: эти добрые, чуткие люди к детям относились хорошо”.

Национальность воспитанников, кроме Е. Альжибаевой, Л. Бережной и Леонида Федоровича Антюфьева, по книге приказов удалось узнать лишь еще у одного - Измурадова Аниса. Но даже по этим четырём фамилиям можно сделать вывод, что состав воспитанников детского дома был многонационален. Были среди них русские, украинцы, белорусы, поляки, немцы, татары, хакасы, чуваша, цыгане и другие.

Значительно пополнили историю Чичка-Юльского детского дома воспоминания работавших в нем людей, с которыми мне довелось встретиться: одного из директоров, воспитателей и других. Помогли в этом и письма, полученные в порядке откликов на мою статью, опубликованную в областной газете “Красное Знамя” (от 2 февраля 1989 г.) под заглавием “В таежном детдоме”.

Поиск всего того, что я сумел собрать, я вел целый год.

### **Воспоминания Марии Артемьевне Ботевой /Путинцевой/**

В поселок Февральский первого участка я приехала в апреле 1934 года, - рассказывала Мария Артемьевна, - по последнему пути. Я только что окончила семь классов и была направлена туда на работу воспитателем детского дома.

В поселке Февральском детдом располагался в бараках. Поселок был довольно большой, строили и жили в нем до этого хакасы из Красноярского края. Когда открывали детский дом, их всех из него выселили в другие поселки.

Только воспитанники занимали более десяти барачков. В одном барачке размещались столовая, в другом - сапожная мастерская, в третьем - баня. Кроме того, в разных бараках были: изолятор для больных детей, клуб, прачечная. Имелся также скотный двор, где держали лошадей, коров, свиней.

Школа находилась в центре, между поселками Майским, Февральским и Чичка-Юлом, в бору. Она была начальной и называлась Чичка-Юльской. Здание школы было построено специальное, там было два класса, учительская, комната для сторожихи, столовая. Школа была еще новая.

Заведующей детским домом была Анна Лукинична Желеховская.

Воспитанников было много, все из разных поселков всех трех участков, сироты из семей умерших спецпереселенцев т цыганские. Возраст их был от 7 лет до 16-17 и даже старше.

Дети в бараках спали на топчанах. Когда я приехала в поселок Февральский, воспитанников кормили неважно, одевали скуповато.

Поблизости, недалеко от школы, строилось двухэтажное здание специально для детдома. Все сотрудники детдома работали на его отделке: штукатурили, мыли и красили полы, убирали территорию. Работать с детьми было некогда.

Еще в поселке Февральском первого заведующего - Желиховскую А.Л., сменил Иван Дмитриевич Поданев.

В новом здании были уже кровати, заправленные хорошими постелями, одевать воспитанников стали хорошо, форму шили по классам, разной расцветки, чтобы дети ее не путали. Обувь оставляли в коридоре, возле спален. На втором этаже находилась большая пионерская комната. Она была хорошо оформлена и оборудована, имелись горны, барабаны, музыкальные инструменты, пианино. В коридоре, спальнях, пионерской комнате висели большие зеркала.

На первом этаже была большая столовая с кухней, кладовая. На обеде находилось одновременно по сорок человек (по классам).

Было большое подсобное хозяйство: лошади, коровы, свиньи. Кормить воспитанников стали хорошо. За скотом любили ухаживать старшие воспитанники, особенно охотно возились с лошадьми.

Из воспитателей хорошо помню Евдокию Федоровну Попову. Она имела начальное образование, но была энергичная и очень строгая, держала верх над цыганятами, и они ее слушались. И таких было большинство, но не обходилось без лихоимцев. Воспитатель Напалков с завхозом Шеншиным жульничали, и их потом судили. А жена Напалкова - Мария Яковлевна, числясь воспитателем и одновременно работая в пошивочной мастерской, из материалов для пошива одежды воспитанникам шила себе платья, а другие воспитатели возмущались.

Из воспитанников помню цыганят Сашу Степаненко, Садкевича, Сличенко Колю. Все были прекрасные плясуны.

Пережили мы и горестные дни - это было еще в бараках поселка Февральского: не уберегли двух сестричек лет по десяти-двенадцати, цыганочек Вишневских. Они весной наелись грибов и умерли. Обе были в моей группе.

С Петром Ильичем Ботевым мы стали мужем и женой 20 марта 1937 года, а зимой 1938 года нас перевели в поселок Симоновку Зырянского района. Его тоже строили, а затем обживали спецпереселенцы.

### **Воспоминания Ивана Дмитриевича Поданева**

С шестнадцати лет я начал работать сначала учителем, а затем заведующим начальной школой в поселке Сухой Лог Симоновской поселковой спецкомендатуры в Зырянском районе. А в семнадцатилетнем возрасте в начале 1935 года меня направили заведующим Чичка-Юльским детским домом НКВД, который непосредственно подчинялся культурно-воспитательной части Пышкино-Троицкой участковой спецкомендатуры, а та, в свою очередь, отделу трудовых поселений и мест заключения Управления НКВД Западно-Сибирского края, находившегося в Новосибирске.

Детский дом размещался в поселке Февральском и занимал целую улицу бараков. Воспитанников было около двухсот человек. Спали они в бараках на нарах. Матрасы набивали соломой, подушки были перовые.

Начинать работу пришлось с очень неприятного дела. Воспитанников буквально заедали клопы. Заведующий распродом /магазином/ выдал газ хлорпикрин, и мы с детдомовским фельдшером Махтодуюем и спецпереселенцем хакасом Челтмашевым принялись за их уничтожение. Второй напастью были вшивость и чесотка. Детей стали регулярно, два раза в неделю, мыть, достали военную дезокамеру. Кроме того, от чесотки лечили сперва денатуратом, а потом мазью.

Дети были девяти национальностей. Некоторые - переростки. Данковцеву и Галактионову было по 17 лет - отцы у них были военные, Халило - 17, цыган, работал на подсобном хозяйстве, но дисциплиной не отличался, продавал свою одежду. Одной девушке было 19 лет, она жила на частной квартире в поселке Чичка-Юл, но кормил ее детский дом. Она была дочерью какого-то высокопоставленного человека.

Но в основном это были дети с участков, в том числе и из Зырянского района и из цыганской Евстигнеевки, в большинстве сироты, родители которых погибли в первые годы после того, как их пригнали в зачумскую тайгу, только часть цыганят имела родителей, бросивших их в связи с удачным побегом.

Когда я приехал в поселок Февральский, то неподалеку уже строилось новое здание детского дома. Детей я туда перевез в марте 1936 года. Но его отделка еще не была закончена. Полы покрасить успели, а стеры еще оставались неоштукатуренными, их мыли с мылом.

Здание было двухэтажное, большое, на втором этаже - балкон, выходивший в сторону тайги, начинавшейся за логом, что был рядом, и часто с него видели медведей, переходивших через детдомовское поле. По логому протекал ручей, его запрудили. На запруде азартно работали сами ребяташки. Потом они купались в своем пруду, а речка Чичка-Юл была в двух километрах.

У детдома имелось большое подсобное хозяйство с посевами, которые находились километрах в трех. Но коровник, свинарник и конюшня были рядом, сразу за летней кухней, баней и прачечной. Все животноводческие постройки были типовыми, а баня и прачечная находились в бараке, разгороженном на две половины. Неподалеку от выхода из здания детдома был колодец.

Животные в подсобном хозяйстве содержались чистопородные: коровы - краснохолмские и симменталки, а свиней привозили из Черепановского совхоза, находившегося южнее Новосибирска.

Благодаря хорошо поставленному подсобному хозяйству, детей кормили хорошо как продуктами животноводства, так и овощами. Кроме того, воспитанники сами заготавливали много колбы (черемши) на засолку.

Печеным хлебом детдом снабжался распродом по нормам, установленными вышестоящими органами НКВД. Некоторым воспитанникам его не хватало. Однажды завхоз Мефодий Иванович Царян предложил провести эксперимент, и я решился на него. В столовой стали нарезать столько хлеба, сколько дети его съедят. Сначала его уходило в два раза выше нормы, а потом стали не всегда справляться и с нормой.

Грубых нарушений дисциплины в детдоме не было.

Имелся пионерский отряд, проводили сборы у костра, походы.

Поблизости, на втором участке, находилась больница и десятилетка, директором ее был Краснов. Там же имелся интернат, где жили человек двадцать детдомовцев, учившихся в старших классах.

В поселке Майском построили клуб. При нем существовала художественная самодеятельность: ставили спектакли, концерты. Ее участниками, кроме меня, были воспитатель Шаталина, учитель начальной школы Литвинов и другие. Первой играли пьесу "Квадратура круга", "Москвичку" и "Закон тайги" - за нею".

Рассказывая о детском доме, Иван Дмитриевич Поданев поведал мне и об условиях жизни директора детского дома:

– Я бесплатно получал красноармейский паек, на месяц выдавали: восемнадцать килограммов муки-крупчатки, четыре килограмма мяса, четыре килограмма рыбы, топленое и растительное масло, сахар, конфеты, папиросы, керосин, а на каждого члена семьи всего этого - половинную норму.

Конечно, это был не красноармейский паек, даже армейские офицеры едва ли имели его по таким нормам. Но ответственные работники НКВД - имели.

### **Из воспоминаний Александра Трофимовича Ерохина:**

– В 1936 году я закончил семь классов Ключевской школы и был направлен в Чичка-Юльский детский дом вести хор, музыкальный и танцевальный кружки.

Вначале хотели, было, меня послать на курсы учителей, но ехать туда мне было не в чем. Холщовые штаны на мне были окрашены луковой шелухой, а на них пуговица - “сучок”, привязанный дратвой (сученой льняной ниткой, пропитанной варом, употребляющимся для пошива сапог, починки валенок). Рубаха тоже была холщовая.

Одели меня во все детдомовское. Выдали хлопчатобумажные брюки, две рубашки - белую и серую, ботинки. Они были комбинированные: белый брезент, а запятки и носки - хромовые. Когда носок высывался из-под гач брюк, я им всегда любовался и испытывал гордость за самого себя, раньше хромовой обуви мне носить никогда не приходилось.

Однако через неделю меня перевели в Евстигнеевский детский дом /в районе его называли цыганским/. Он размещался в нескольких бараках, из которых взрослые цыгане разбежались, а своих детей побросали.

Вначале заведующего в этом детдоме не было, его возглавляла заведующая учебной частью - жена поселкового коменданта Валентина Лаврентьевна Жеба. Потом приехали директор Василий (не помню отчества) Нартов и завуч Березина.

Воспитанников в детдоме было около ста человек в возрасте от трех до восемнадцати лет.

Начало моей работы в цыганском детдоме было оригинальным: в первое же утро надел трусы и майку, взял волейбольный мяч и направился на игровую площадку. Не заметил, как сзади меня догнал воспитанник, он, не останавливаясь, выбил у меня из-под мышки мяч, в сердцах выругался и прошел мимо, даже не оглянувшись.

Вечером я пришел в клуб: воспитанники - бьют чечетку, а я иду в присядку. Им это пришлось по вкусу. Только восклицают:

– Давлалэ! (Боже мой!)

После этого я быстро нашел с ними общий язык, научил их петь хором песню про Ермака. Выстрою их перед сном, и они поют: “Ревела буря...” Воспитанники полюбили и песню “Когда я на почте служил ямщиком...” Пели ее и по-русски, и по-цыгански.

В феврале 1937 года детский дом в Евстигнеевке был ликвидирован, а его персонал и часть детей перевели в Чичка-Юльский. Там разместили старших воспитанников, а младших мне поручили доставить в Вороно-Пашенский детский дом.

Помню, февраль был морозный, малышей хоть и укутали в тулуп, но все равно они мерзли, ведь ехать пришлось более ста пятидесяти километров. Один из самых маленьких цыганят все пищал:

– Шалало (холодно), Сан Славич!

Воспитанники величали меня по отчеству. На пяти подводах вез десятка два детей.

В Чичка-Юльском детском доме я проработал до мая того же, 1937 года и уволился в связи с поступлением на учебу в Томское музыкальное училище.

### **“Мы все были молоды...” (из письма Ф. Алфутовой-Заозерской)**

“...В 1937 году по путевке комсомола нас с мужем направили на работу в Чичка-Юльский детский дом. Мужа - Алфутова Павла Семеновича, ныне покойного, - бухгалтером, а меня - учителем Чичка-Юльской начальной школы

Детдом был расположен в двухэтажном здании: деревянном, новом. Оно красиво выделялось среди курных избушек, наспех сделанных спецпереселенцами.

Условия жизни в детдоме, я бы сказала, для того времени были нормальные. Питались дети неплохо, одевались тоже неплохо.

В детдоме были дети разных национальностей, но были дружны. В школе классы были смешанные, то есть учились дети из поселка и детдома, однако в классе все были одинаковы, как одна семья.

...Ну, а дети-цыгане - тем только бы петь и плясать, всегда упрашивали побольше делать перемен, чтобы побольше попеть и поплясать, но хоть нехотя, но учились. Запомнились такие мои цыганята: Федя Шишков, Нюра Федорова, Ваня Вертулов, Коля Сличенко, братья Бобровы - плясуны. Где они сейчас, мои хорошие?

Каждый год выезжали в районный центр на детскую художественную олимпиаду и всегда занимали первые места. У меня сохранилась фотография 1939 года, где сняты ребята, директор детдома Чернявский Михаил Михайлович, старший пионервожатый Вяльцев Николай Владимирович, Гуцало Василий Прохорович и депутат Верховного Совета РСФСР Таныгина Мария Ивановна после выступления на олимпиаде.

Директора детдома менялись часто: за 4 года при мне сменились 4 директора. Были после Таусенева - Одегов Владимир Иванович, Сидоров Константин Иванович /при нем и сгорел детдом, это было 22 марта 1939 года/, Чернявский Михаил Михайлович.

После пожара мы были вынуждены покинуть Чичка-Юл, переехать в Тарбеево. Здания не приспособлены, и тут, мне думается, было труднее. Тарбеево - село старинное, большое, и нас встретили неприветливо...

Проработала я учителем 39 лет. О работе с детдомовскими детьми у меня воспоминания остались самым светлым окном. Не знаю почему, но я с уважением вспоминаю детей и всех работников. Может быть, потому что мы все были молоды и нас окружали хорошие люди, или что на нас лежала ответственность по воспитанию и обучению самых несчастных детей, а мы должны были дать им радость жизни. Все они были, как родные нам...”

Письмом Ф. Алфутовой - Заозерской я сделал некоторый сбой в мозаике всего повествования. Несколько раньше надо было рассказать о том, что поздней осенью 1937 года в Чичка-Юльский детский дом привезли детей репрессированных “врагов народа”, тех, кого расстреляли, а их семьи тоже арестовали и подвергли изгнанию, расстреляли и многих жен, детей же поместили в приемники НКВД и детские дома. Среди них был и сын соратника Ленина - Льва Борисовича Каменева.

Далее я приведу фрагменты из своего очерка “В таежном детдоме”, опубликованные в областной газете “Красное Знамя” 2 февраля 1989 года.

Если бы я случайно не узнал, что сын Каменева содержался в Чичка-Юльском детском доме, то, может быть, не было бы и всего настоящего повествования. И всех моих изысканий не было бы.

### **В таежном детдоме**

“Одновременно с неугодными “вождю народов” виднейшими руководителями большевистской партии безвинно страдали и их семьи: жены, дети, братья и сестры. Все они были репрессированы, многие - расстреляны, остальные загнаны в лагеря и ссылки, а малыши - в детприемники и детдома НКВД. Местом невольного пребывания многих стала и Томская область и сам город Томск. Таким был и Чичка-Юльский детский дом НКВД.

Автору этого очерка удалось в какой-то мере детально узнать о судьбе сына Л.Б. Каменева - Владимира Львовича Глебова. А началось это знакомство после того, как прочитал в “Строительной газете” (от 11 августа 1988 года) размышления философа В.Л. Глебова о времени и об отце. Вот что он пишет: - “После года в Бийском детприемнике я был направлен в детский дом, в поселок Чичка-Юл Томской области. От Томска до Пышкино-Троицка плыли на барке по Чулыму. Потом от реки еще две недели пробирались до места на телегах через тайгу. Вот где нашли себе приют дети ”врагов народа”. Но долго на одном месте нас не держали. После Чичка-Юла попал в село Торбеево нынешней Кемеровской области...”

Вот тут следует уточнить: село Торбеево находится в 12 километрах от села Первомайского и расположено на территории этого района, а, следовательно, и относится к Томской области. Просто одно очень непродолжительное время до создания Пышкино-Троицкого (Первомайского) района будущий районный центр и Торбеево относились к Зырянскому району, который в то время входил в состав Кемеровской области. Так и запомнилось это В.Л. Глебову.

Прочитав воспоминания в “Строительной газете”, я решил более подробно узнать о жизни малолетнего изгнанника в нашей области...

Сам В.Л. Глебов вспоминает об этом так: - “В общем, жил почти обычной для того времени суровой жизнью подростка. И мало кто из товарищей знал, что я сын заклятого

“врага народа”. Не то, чтобы я скрывал это, вовсе нет, но к тому времени я уже не носил фамилию отца.

Меня нередко спрашивают, когда и как я сменил фамилию. Так вот, я ее не менял. Это случилось как-то само собой, без моего согласия и ведома. В Чичка-Юле я был еще Каменевым. Потом мне сказали, что я Каменев-Глебов. Затем на первое место поставили фамилию матери. Поле остался просто Глебовым. Время от времени меня вызывали к директору детдома, и он говорил: - “Перепиши новые данные из дневника и тетради”. Как это расценивать, до сих пор не знаю. Иногда приходит мысль, что наши воспитатели в детдомах были вовсе не так слепы и как могли, спасали нас, ни в чем не повинных жертв репрессий. Может быть, это помогло мне успешно закончить в 1945 году спец. партшколу и вместе со всеми мечтать о большой жизни...”

Но все это были отрывочные сведения, и я решил поговорить с самим Владимиром Львовичем. Встретились мы возле аудитории новосибирского института, в которой Владимир Львович через минуту должен был читать лекцию по философии студентам. Глебов - доцент кафедры философии. Договорились побеседовать сразу же после лекции, после которой у него было ”окно”.

Была середина октября, но погода стояла солнечная и теплая. Мы сели на скамейку напротив высокого здания факультета общественных наук. Невысокий и плотный, крупноголовый, с седыми усами и ухоженной клинообразной бородкой, с постоянным прищуром глаз за стеклами очков, он напоминал отца, фотопортрет которого опубликовала “Строительная газета”. Владимир Львович не стал терять времени на предисловие:

– В Чичка-Юл я был привезен в семилетнем возрасте на самом переломе предзимья 1937 года. Поселок был более чем в ста километрах от Пышкино-Троицкого. Раз вы из того района, то знаете, что только до села Знаменского 80 километров, из них половина - без жилья. Да еще дальше 30-40. Детский дом представлял собой огромный деревянный двухэтажный дом на таежной поляне. С одной стороны был глубокий овраг, с другой - хозяйственные постройки, а неподалеку, километрах в двух-трех, находилась небольшая деревушка Чичка-Юл. Как раз посередине между ними стояла начальная школа - в нее и ходили детдомовцы, ребята из поселка. В нашем детдоме содержались дети от семи до десяти лет (сегодняшний комментарий к собственному очерку: во время нашей беседы и затем публикации я располагал только данными В.Л. Глебова, потому вкрались отдельные неточности). Процентом шестьдесят среди них были дети “врагов народа”, пятая часть - бандиты. В детдоме их звали “атаманами”. Еще процентов 20 было цыганских детей... Как мы там жили? До 1939 года, когда началась война с Финляндией, кормили и одевали неплохо. Что еще было? Очень многое. Происходили разные истории. Над нами верховодили “атаманы” и объединившиеся с ними цыгане. В 1939 году одному парнишке не понравился выданный ему новый костюм, и он поджег детдом, а сам сбежал. Его, конечно, поймали. Здание горело двое суток...

На этом месте я обрываю фрагменты из своего очерка и вернусь к завершению истории Чичка-Юльского детского дома по письмам-откликам на очерк и воспоминаниям очевидцев и участников тех забытых событий.

### **Володя Глебов в воспоминаниях**

(воспитателей, учителей и людей, знавших и видевших его в Чичка-Юльском детском доме)

Ботева Мария Артемьевна:

– В 1937 году в наш детдом привезли детей репрессированных. Каменев был умный, все - на перемену, а он где-нибудь в уголочке читает, пишет стихи.

Ботев Петр Ильич:

– Когда я ознакомилась с делом только что прибывшего воспитанника Каменева, то пригласила его в учительскую. Он вел себя не по семилетнему возрасту независимо и выглядел явно развитее всех остальных воспитанников детского дома. Главным его занятием, как я увидела после личного с ним знакомства, было чтение книг, хотя он пошел лишь в первый класс.

Из письма Ф. Алфутовой-Заозерской:

“Учился у меня Володя Глебов. Когда он прибыл в детдом, нам, воспитателям и учителям сообщили, кто он и откуда /у него было личное дело/ Мы немного насторожились, как ему будет среди ребят. И, конечно, делали все, чтобы его оберегать. И он был, как все. Когда он к нам прибыл, наверное, уже читал... был замкнут, все уединялся и с книгой не расставался. Жил, как все дети, ничем не выделялся, и его никто не выделял”.

Из письма А. Лысовой:

“О Володе Глебове говорили, что он очень начитан и замкнут в свои 7-8 лет...”

**Конец Чичка-Юльского детского дома**

Беседую с Анастасией Григорьевной Сидоровой у нее на квартире по улице Лазарева в Томске. Ее муж был предпоследним заведующим Чичка-Юльским детским домом. Было начало 1990 года. «Константин Иванович скончался двенадцать лет назад» - сообщает Анастасия Григорьевна.

Вдова подает мне трудовую книжку покойного мужа. Читаю нужную запись из послужного списка К. И. Сидорова: - “15 ноября 1938 года. Назначен заведующим Чичка-Юльским детским домом Асиновского района Новосибирской области”.

Все шло хорошо, 7 января 1939 года за хорошую постановку хозяйственной и воспитательной работы детского дома Асиновским райкомом ВКП (б) и Асиновским райисполкомом Константину Ивановичу была объявлена благодарность.

И вот 22 марта. Пожар. Детский дом, по свидетельству всех очевидцев, горел долго - двое суток. И все утверждают, что поджег один из воспитанников на чердаке. Многие считают, что это был цыганенок. Даже было предположение, что научил его этому взрослый цыган. Велись поиски. Теперь можно с уверенностью сказать, что десяти - двенадцатилетнего мальчика строго не накажешь, поэтому искали “подстрекателя”. Не забудем, что был 1939 год.

Константина Ивановича признали в пожаре невиновным. В Чичка-Юл выезжала специальная комиссия во главе с депутатом Верховного Совета Марией Ивановной Таныгиной.

По записи же в трудовой книжке узнаю, что с мая 1939 года Константин Иванович Сидоров назначен директором Вороно-Пашенского детского дома Асиновского района.

Воспитанники из сгоревшего детского дома были сразу размещены по спецпереселенческим поселкам, потом их перевели в село Тарбеево. Здесь директором был Михаил Михайлович Чернявский.

Константин Иванович Сидоров с 17 февраля 1940 года был призван на войну с Финляндией. С фронта он вернулся и с 5 июня был назначен снова директором Вороно-Пашенского детского дома, а уже через неделю направлен на краткосрочные курсы повышения квалификации директоров детских домов при Научно-практическом институте детских домов и специальных школ, который находился в Москве.

23 июня 1941 года, на второй день после нападения Гитлера на СССР, Константин Иванович Сидоров был взят на фронт.

После войны К.И. Сидоров до 1953 года оставался в Советской Армии. Он был политработником, в г. Белове Кемеровской области работал заместителем по политической части командира сержантской школы. В запас ушел в звании майора, а затем в г. Нижневартовске был военруком средней школы. На пенсию ушел в 1976 г., в 1977 году умер.

О дальнейшей жизни Анны Лукиничны Желеховской мне ничего не известно.

С Иваном Дмитриевичем Поданевым мы летом 1989 года встречались несколько раз, и я записывал его воспоминания. Он - фронтовик, возглавлял Совет ветеранов войны при тресте "Томскпромстрой". После войны много лет был директором Чердатского детского дома Зырянского района.

Дмитрий Павлович Таусев, будучи заведующим Чичка-Юльским детдомом, серьезно болел. Он умер в больнице второго участка.

### **В Тарбеевском детском доме**

(по книге приказов, воспоминаниям и письмам работников детского дома и очевидцев)

#### ***Воспитатели***

Скрупулезно изучаю книгу приказов по Тарбеевскому детскому дому за 1941 год и один за другим проход перед глазами его воспитательский и обслуживающий персонал.

Не буду нарушать хронологию, а каждого назову по порядку.

Минаков И.П. - завхоз, Никифоров - кладовщик, Алфутов - бухгалтер, Бекшенева - костелянша, Пичугина Мария Ивановна - медработник, Ведерникова - медработник, Бедина А.Д. - воспитатель, Версенев И.Е. - инструктор по труду, Зверев - воспитатель, в январе призван в Красную Армию; Суровцева Анастасия - воспитатель, Дорохова Анна Прокопьевна - воспитатель, Анисимова Татьяна - воспитатель, Дорохова В.П. - подменный воспитатель, Чернявская Нина Михайловна - воспитатель, Годышев Валериан Прокопьевич - заведующий учебной частью, 15 апреля призван в Красную Армию; Хамицевич А.Ф. - воспитатель, Попов Павел Афанасьевич - воспитатель, Климова Таисия Александровна - пионервожатая, Тимохин И.П. - бухгалтер, Емельянов Сисой Максимович - инструктор по столярному делу, Галкина Александра Семеновна - воспитатель, Сухова Т.М. - воспитатель,

Кремис Василий Иванович - кладовщик, Иванов Григорий Тимофеевич - инструктор по столольному делу, Шалаева В.О. - старший повар.

Завхоз Минаков И.П. - избил воспитанника Бертулова Георгия, приказом № 21 от 21 апреля уволен с работы и дело на него передано в прокуратуру.

12 мая 1941 г. директор детского дома Чернявский Михаил Михайлович освобожден в связи с призывом в Красную Армию.

Война с Германией еще не началась, а уже полным ходом шла мобилизация мужского населения. Брали даже работников детдома.

Приказ № 1 по Тарбеевскому детскому дому подписала Савкина М.К.

23 июня воспитатель П.А.Попов уволен в связи с призывом в Красную Армию.

Бикетов Василий Прокопьевич - воспитатель, Худяшова Нина Ивановна - зав. учебной частью, Гурунович Виктор Иосифович - воспитатель.

С 5 сентября 1941 года детдом возглавил новый директор, фамилию его в книге приказов я не разобрал. Кремис В.И. с 6 сентября назначен завхозом.

### **Воспитанники**

Приказ № 14 по Тарбеевскому детскому дому от 21 марта 1941 года:

“Воспитанники Чернов Н.П., Сличенко Н.Т., Намазов К.М., Бертулов Г.И. на протяжении времени пребывания в детском доме проявили себя воспитанниками неподдающимися воспитанию в нормальном детдоме. Систематически нарушали нормальную работу детского дома, не выполняют режим дня и правила внутреннего распорядка, делают самовольные отлучки, количество побегов у отдельных доходит до пяти, при каждом побеге делают кражу вещей детдома и распродают их. Систематически избивают детей колхозников и устраивают гонения на лучших воспитанников, у младших воспитанников отбирают все, что им нравится. Систематически занимаются воровством, производят взлом замков у складов детдома и колхоза. Производят кражу из частных квартир колхозников, несколько раз были пойманы колхозниками, при этом их оскорбляли. Извращают отдельные советские песни, переделывают их в нецензурные и антисоветские. Неоднократно обсуждались на детских советах и собраниях воспитанников, где они обещали исправить поведение, но этого не выполняли. На беседы воспитателей, директора отвечали грубостью и угрожали убийством отдельных воспитателей. Школу посещают редко, а если посещают, то с целью срыва уроков, обзывают учителей, за что разбирались на учкоме, педсовете, но не улучшили дисциплину, в результате чего все они исключены из школы, что утверждено районо. На педсовете и собраниях воспитанников вынесено решение об исключении их из детдома. На основании вышеизложенного Черного Николая П., Сличенко Николая Т., Намазова Константина М., Бертулова Георгия И. из детдома исключить и направить в детдом с особым режимом. Просить облоно утвердить данный приказ.

Директор Чернявский”.

Здесь я ничего не убавил и не прибавил. Так было. Приказ через пятьдесят с лишним лет бесстрастен. Но комментарий он требует.

Герои приказа -четыре подростка. “Атаманы” не родились для краж и разбоя, но они были поставлены в особые условия жизни и не намеренно, а инстинктивно, выражали свой протест, как умели. Неправедный и незаконный? Никто не отрицает, И первый порыв сегодня - осудить их. Но не прежде ли, чем мы осудим их, следует осудить тех, кто осиротил их, обездолил, и тем самым толкнул на ошибочный путь, на кривую дорожку? Преступление толкает на преступление...

Это мое философствование, рассуждение, пусть и банальное, но неопровержимое, относится, безусловно, не ко всем воспитанника детского дома. Большинство из них выдержало все испытания и осталось людьми. Этому есть подтверждение и в книге приказов по Тарбеевскому детскому дому.

Приказ № 20 от 9 апреля 1941 года: - “Итоги за третью учебную четверть 1940-1941 учебного года показали, что взятые обязательства при развертывании соцсоревнования имени 18-й Всесоюзной партконференции отдельными сотрудниками выполняются с честью (воспитательницы тт. Галкина А.С., Сухова Т.М., старший повар т. Шалаева В.О., прачки тт. Маринина, Дорохова П.В.).

Хорошие и отличные показатели в учебе, в поведении, в выполнении общественной работы имеют воспитанники: Иноземцев Андрей, Евдокимова Феша, Кузнецова Мария, Альжибаева Рая, Княжева Тася, Кузнецов Юрий, Харина Паша, Приставка Таня, Владимирцева Маня, Баймурзин Миша, Лопатина Маня, Воронкова Нюра, Муравицкий Михаил, Стихнев Яша, Шабанов Ваня.

...За отличные показатели в учебе воспитанникам Иноземцеву Андрею, Владимирцевой Марии, Кузнецовой Марии, Лопатиной Марии, Княжевой Таисии, Воронковой Анне, Хариной Паше, Стахневу Якову объявляю благодарность с занесением в личное дело и на Доску почета. Премирую каждого подарком стоимостью 20 рублей.

За хорошие показатели в учебе, в поведении, в отношении к труду и общественной работе воспитанникам Евдокимовой Феше, Баймуразину Мише, Альжибаевой Рае, Кузнецову Юрию, Приставка Тане объявляю благодарность с занесением в личное дело. Премирую каждого в размере 15 рублей.

За хорошие показатели в учебе и выполнении общественной работы Муравецкому Михаилу, Шабанову Ивану объявляю благодарность с занесением в личное дело и премирую каждого в размере 30 рублей...”

Отдельным приказом директора Муравецкий Михаил был утвержден председателем, Клинский Алексей - секретарем детсовета.

Дополнительные сведения и подробности из жизни Тарбеевского детского дома содержатся, с которым впоследствии я не раз встречался и у меня в квартире, и однажды у него - в поселке Светлом Асиновского района. В соответствующих главах я буду приводить по их частям без изменений. Начну с части, дополняющей эту главу.

#### Письма от Георгия Демидовича Власюка:

“Ребята рассказывали, что здание Чичка-Юльского детдома сжег лет 15-ти мальчишка - Хохлов, - на почве обиды на воспитателей. Он пустился в бега, его поймали и отправили из детдома. Дети его не одобрили - много сгорело, к тому же остались без своего угла. После этого встал вопрос о переселении детского дома. Помню, где-то в мае 1939 года приезжала

комиссия вместе с депутатом Верховного Совета Таныгиной Марией Ивановной, которая лет десять работала в Тарбеевской образцовой школе (слово “образцовая” было на печати школы вплоть до 50-х годов, а школа по паспорту функционировала с 1910 года). Эти люди были в ограде школы и толковали о детдоме. Скоро стали закупать и оборудовать дома для детдома в Тарбеево. Мы, дети, были рады, что наше детство будет более веселым. Первую партию привезли где-то в июне 1939 года. Это были старшие ребята, человек 10-15 в возрасте 15-17 лет. Они-то и считались главными лидерами - “атаманами” в детдоме. Их слово - закон. Они пользовались привилегией со стороны воспитателей и администрации, так как “держали порядок” в гущи остальных детей на основе применения грубой силы. Среди этих атаманов были: Королев Петр, Степаненко, Жигалов, Дитлов и другие. В августе 1939 года привезли остальных.

“Атаманы” вначале не сошлись с местными парнями и дрались на ножах. В эти драки вмешивались даже мужчины.

Когда привезли всех остальных ребят, то они повели себя агрессивно по отношению к местным жителям и детям.

Мое столкновение с агрессивными детдомовцами было такое - где-то в августе 1939 года мы с местными ребятами (было мне тогда 11 лет) играли в мяч. Вдруг подходит к нам большая группа детдомовцев нашего возраста. Мои товарищи поспешно удалились в дом и закрылись на крючок. Я подумал: - “Убегать не буду, ведь я ничего плохого к ним не имею. Группа детдомовских ребят вошла в ограду, а затем в огород усадьбы Дороховых, а двое позвали меня в лесок. Они наставили на меня развернутый ножик-складник и потребовали принести рубль. Перепугался я и принес из дома деньги.

В дальнейшем перед началом учебного года ребята-детдомовцы поступали с нами так: ходили они большими группами, встретят деревенского мальчишку - обыщут и забирают все, что для них составляет ценность. При сопротивлении бьют нещадно.

Такое было “веселое” начало знакомства с детдомовцами на всех нас нагнали настоящего страха.

Начинался 1939-40 учебный год. Мне идти учиться в пятый класс. В те годы ученики были старше нынешних. В 6-й класс из детдомовцев пришло учиться человек 12, в 7 классе в 1939-40 учебном году никого из детдомовцев не было, из них никто, а нашем районе десятилетку не заканчивал. Но в пятый класс пришло детдомовцев много, человек тридцать с лишним. Их распределили по трем пятым параллельным классам”.

#### Из другого письма - Власюка Г.Д.:

“Картина была такая. Сидим мы на первом уроке 1 сентября 1939 года. С небольшим опозданием приводит воспитатель в класс детдомовцев. Мальчишки с гамом, не обращая внимания на учителя, давай перемещаться с парты на парту, забирать у учеников тетради, учебники, школьные принадлежности. Вот такое насилие деревенские ребяташки испытали на этом первом уроке.

Так продолжалось и дальше. Многие ученики села Тарбеево бросили учиться в 1939 году - не выдержали грубостей детдомовцев.

Задумываясь над проделками детдомовцев, уже став взрослым, сделал вывод, что они очень ценили бескорыстное к ним отношение, уважали тех, кто с ними по своей инициативе делился куском хлеба и другими дефицитом для детей того времени

Был я прост и в этом смысле, жадности никакой не имел и оказался в наиболее выгодном положении среди товарищей, живших в семьях. Помню, в Новый 1940 год пришли из детдома с “елки” соклассники на “елку” в школе. Они получили подарки и в детдоме, и в школе. Так вот, каждый из них со мной делился этими своими подарками. Были неузнаваемы. С того времени я их душой уважал, меня не обижали. Вот и удержался я в школе, окончил 10 классов в 1945 году”.

Детдомовцы были обкрадены близостью к ним со стороны окружающих, а потому были жестокими.

Проделок много было у детдомовцев. Часто уходили из детдома, курсировали по Советскому Союзу, затем возвращались с какой-нибудь “новинкой”. Однажды Штукарин - “Шакал”, устроил в школе после очередного побега такой “шмон”. Приходит группа из детдома в школу пораньше, тушит в коридоре лампы, кто-то стоит с простыней у входных дверей. Входит ученик, набрасывают на него простынь, валят с ног, отнимают сумку или портфель, забирают, что нужно, остальное подбрасывают в класс хозяину.

Цыгане делали такое: привязывают к палке нитку, а к ней крючок, на него наживляют дождевого червяка. Лежат под забором, при появлении курицы бросают приманку. Курица бежит за червяком, ее тянут к себе. Затем идут в лес, там приготовлен таганок с ведрами, картофель. Варят курятину. Поедят - поют, пляшут.

А маленькие цыганята однажды в своем жилом доме решили развести костер - устроить табор. Чуть не сожги дом.

Позже, в 50-х годах я работал в Тарбеевской школе при детдоме...”

### **Володя Глебов в Тарбеевском детском доме**

Он сам рассказывал мне во время нашей встречи:

“Из Чичка-Юла нас перевели в село Тарбеево, где мы жили в избах. На новом месте мы, дети репрессированных, совершили “революцию” - сплотились между собой и победили атаманов. Власть перешла в наши руки... В этом детдоме я пробыл до 1942 года. В 13 лет меня перевели в г. Белово Кемеровской области”.

Ветеран народного просвещения Павел Иванович Волков, более 50 лет проработавший в Рождественской школе Пышкино-Троицкого (Первомайского) района, рассказывал:

– Во время моих довоенных поездок в районный центр я часто останавливался у тогдашнего заведующего районо Всеволода Ивановича Сидорова, кстати, родного брата бывшего директора Чичка-Юльского детского дома. Всеволод Иванович не раз приглашал меня побывать в Тарбеевском детском доме, где содержалось много детей “врагов народа”. В первое же мое посещение заведующий детским домом показал на мальчика лет 1-11 и сообщил, что это сын расстрелянного Льва Борисовича Каменева. Это был очень замкнутый и скромный мальчик, но развитый и начитанный. Под подушкой у него всегда хранились книги и газеты.

Эту характеристику необычного воспитанника, мать которого тоже была расстреляна по указанию Сталина, подтвердили Мария Викторовна Шмидт (Окушко) и Наталья Исаковна Пантелиади, в 1941 году работавшие в селе Тарбеево: первая - преподавателем физкультуры в школе и воспитателем в детдоме, а вторая - преподавателем истории. У обеих в 1937 г. были репрессированы родственники: у Марии Викторовны - отец, у Натальи Исаковны - муж. Во время моей встречи с ними обе жили в Томске.

Говорит Мария Викторовна Шмидт (Окушко):

– В 1940 году по путевке комсомола я работала в Тарбеевском детском доме. Помню Володю Глебова тихим и замкнутым мальчиком: маленьким, беловолосым; ходил он в черном длинном пальто, потрепанном. Он постоянно читал. Однажды спрашиваю его:

– Что читаешь?

– Энциклопедию, - отвечает.

Потому и спросила, что увидела у него в руках огромный том.

В 1935 году начала работать в Тарбеевской школе Ольга Михайловна Велиговская:

– Вела математику, биологию и русский язык, - говорит Ольга Михайловна, - в 1939 году сгорел Чичка-Юльский детский дом, и детей перевели в Тарбеево. Разместили их в пустующих домах и привезли в центр села здание пустующей церкви. В детдоме было много цыганят. Прямо в спальне разожгут костер после отбоя, сидят вокруг него, поют и пляшут. Вела я в то время и рисование. Володя Глебов сидел на предпоследней парте в пятом классе. Ростом маленький, худенький, лобастый, белобрысый, голубенькие глазки. На “отлично” учился”.

Из письма Георгия Демидовича Власюка:

“Глебов выделялся среди всех учащихся своей начитанностью. Бывало, в 7 классе, если на уроке истории начинает он отвечать, то мы его слушали с большим интересом, чем учителя. По-моему, он уже тогда хотел понять случившееся с отцом, потому что читал не по его возрасту серьезные книги.

В детдоме все старшие ребята знали Глебова как сына “троцкиста”. Помню, в 1940 году в клубе (он был рядом с детдомом) шла кинокартина “Ленин в Октябре”. Когда Каменев сообщает об Октябрьском восстании Временному правительству, то в зале прошел гул: “Глебова отец! Глебова отец!”...

Я был очевидцем такого случая.

Глебов из какой-то книги вырвал биографию с портретом своего отца и спрятал в свою постель или тумбочку. Воспитатель обнаружил это и на глазах у Владимира изорвал этот лист.

Летом 1941 года приехал работать директором детдома Каменев. Он провел беседу с Глебовым. Детдомовские ребята заподозрили, что этот директор - родственник Владимиру, учинили ему допрос, но он сказал, что Каменев для него посторонний, а брат есть где-то на Востоке.

Так что проявлялся свой интерес к Владимиру со стороны ребят-одноклассников.

Глебов был замкнутый. Со мной он имел один пространный откровенный разговор. Это было в самом начале 1940-41 учебного года. Пришел я в школу намного раньше, до первой смены, пришел и Глебов. Он делился, как провел лето, какие книги прочитал. Он говорил, а мне оставалось слушать, ибо я был по развитию, куда не тот, что Глебов. Но даже и такой разговор с ним был редкостью. Спутники его были чаще не товарищи, а книги. О Глебове-Каменеве разговору было много, а о других детях репрессированных - не слышал. Они, конечно, были, но находились “в тени”.

Чтобы закончить рассказ о Глебов, должен сказать, что во время встречи моей с ним в Новосибирске, он отнесся ко мне довольно холодно, разговаривал неохотно, почти односложно. Только позже я понял, почему. Оказалось, что раньше меня с ним встречался заведующий отделом пропаганды редакции областной газеты “Красное Знамя” Евгений Мирославович Фролов (теперь он там заместитель редактора). Он тоже готовил свой очерк. Но в то время мы с Е.М.Фроловым друг о друге ничего не знали. Свой очерк я передал заведующему отделом писем редакции Владимиру Ивановичу Федорову, с которым был хорошо знаком раньше. И мой очерк “В таежном детдоме” с рассказом о Глебове появился в газете первым. Потом мы с Е.М.Фроловым часто сотрудничали, через него, как и В.И. Федорова, я опубликовал в “Красном Знамени” в последующие годы очень много краеведческих статей и очерков.

Когда мы встретились и познакомились с Г.Д. Власюком, я дал ему адрес В.Л. Глебова, и у них началась дружеская переписка. К тому времени мне удалось собрать несколько фотографий о Чичка-Юльском детдоме. Я их перефотографировал. Г.Д. Власюк получил от Глебова свою современную фотокарточку, он уже стал профессором. А я выпросил у Г.Д. Власюка этот фотоснимок и в газете “Красное Знамя” опубликовал вроде фоторепортажа с пятью или шестью фотоснимками.

И В.Л. Глебов узнал, что у меня имеются детдомовские снимки, захотел их получить. Я выслал их ему. В ответ получил благодарственное письмо и брошюру, которую он написал для курса по эстетическому воспитанию студентов, насыщенную множеством своих стихов.

Но продолжу рассказ о Тарбеевском детском доме.

Из следующего письма Г.Д. Власюка:

“Следует обратить внимание на детдомовца Буланова Тимофея, 1926 года рождения, учился в 1936-42 гг. в 5 и 7 классах (один год болел - терял голос). В 1942 г. с Шабановым Иваном трудоустроен в Новосибирске. Учась в 7 классе, сидел за одной партией с Глебовым Володей. Что-то их объединяло. По журналу “Известия ЦК КПСС”, № 5, стр. 88, Павел Петрович Буланов состоял в “Антисоветском троцкистском блоке”, в марте 1938 г. был суд над участниками этого блока. Может, Тимофей Буланов имеет отношение к П.П. Буланову как родственник? П.П. Буланов родился в 1895 г. в Мордовии. Русский. Ряд лет работал секретарем НКВД”.

### **Дети репрессированных**

Да, многого мы не знали. А может, мы сами ничего не хотели видеть? Последнее - вернее, по себе сужу и по окружавшим меня тогда людям. И пропаганда против “врагов народа”, околпачивавшая нас, была на высоте. Мы отстранялись, мы даже пылали ненавистью к “врагам народа”, их близким и спецпереселенцам - “кулакам”.

До них ли нам было?!

Были в Тарбеевском детском доме дети репрессированных. Вот список воспитанников за 1941 год. Приведу лишь небольшую часть фамилий из него:

Ароновы - Юрий, 1932, Владимир - 1934, Валентин - 1938 года рождения, все - Анатольевичи, братья - 9, 7 и 3-х лет, русские сведений о родителях нет, но в детдом поступили из Томского детприемника НКВД.

Амельченко Елена Михайловна - 1933 г. рождения (8 лет), русская, мать и отец взяты по линии НКВД, прибыла из Асиновского района и через три гола (11-ти лет) выбыла в ФЗО.

Алины - Анатолий, 1932, Илья - 1939, Анна - 1935 г. рождения (тоже все малолетки), - Алексеевичи, мать умерла, отец взят по линии НКВД из деревни Калиновка Пышкино-Троицкого (Первомайского) района. По национальности - карагасы-чулымцы.

Зуева Людмила Алексеевна - 1936 г. рождения, (6 лет), из деревни Уйдановой Пышкино-Троицкого района, отец - “изменник Родины” - так чья-то злая рука окрестила “врага народа”.

Зинкеев Лев Андреевич, 1935 г. рождения, (6 лет), русский, отец - в тюрьме, мать - умерла, поступил в детдом из Сергеевского сельсовета Пышкино-Троицкого района.

Кулеш Эдуард - 1932, Янина - 1934 г. рождения, (9 и 7 лет), - Адамовичи, поляки, отец и мать взяты по линии НКВД.

Кайзер Владимир, 1935 г. рождения, (6 лет), немец, отец - умер, мать - на военном заводе, прибыл из с. Пышкино-Троицкого.

Список можно переписать почти весь, а это сотни детей, и в основном малолетних.

Перелистаю личные дела, они сохранились в Первомайском райархиве, воспитанников. Они поступили в Тарбеевский детский дом вместе с ребятами. На форменных бланках, заполненных в детприемнике НКВД, наклеены фотокарточки, на каждой из них многозначный номер, как в немецком концентрационном лагере.

Еще одна фамилия - Зиберт Виктор Петрович, 1933 г. рождения, немец, эвакуирован (читай - выслан) из Саратовской области в 1941 году с матерью. Попал в Томский детприемник 17 мая 1945г., отец - неизвестно где, мать - Мария, мобилизована в трудовую на ст. Кривошеково (Новосибирск).

Данные Виктора Зиберта в особой расшифровке не нуждаются. Немцев Поволжья в 1941 г. выселили путем ликвидации всей нации, отец, наверняка, служил в Красной Армии и попал на лесозаготовки (я таких немцев встречал в сплавном поселке Заломная Зырянского района - большую группу. Они жили в нескольких бараках лагерного типа). Возможно, конечно, что и расстреляли отца, а 10-11-летнего подростка лишили даже матери.

Во многих личных делах можно встретить такую запись: - “До поступления в детприемник - нищенствовал”.

Вот так, малолетние дети лишились родителей, и некоторые годами скитались по миру, обездоленные “отцом народов”, человеконенавистническим коммунистическим

режимом, голодные и оборванные, нищенствовали. Даже эта запись в их личных делах - издевательская.

Что ждало их после детдома?

Ни один из воспитанников в детском доме не кончил десятилетку, осле 6-7 классов и раньше их трудоустраивали на различные предприятия, определяли в ремесленные училища и ФЗО.

Из книги приказов по детскому дому за 1942 год видно, что в сентябре воспитательница М.А. Кривых увозила устраивать в г. Новосибирск группу воспитанников. Воспитательница Галкина с 1 сентября по 8 октября с той же целью была командирована в г. Кемерово. Видимо, она увезла туда и Володю Глебова, а уж оттуда он был направлен в г. Белово. Завуч Савкина 16 октября увезла также в Кемерово 16 воспитанников. В этом городе часть воспитанников Тарбеевского детдома училась в ФЗО № 34. Учились они и в Томском РУ № 11, и в РУ № 12 в Самуськах.

Часть детдомовских ребят попадала в Томский исправительный детский дом "ИНСПЕР". Попадали до войны прямо из детдома и в заключение: Королев, Жигалов, Степаненко, Альжибаев.

О том, что воспитанников отправляли в исправительный детский дом, рассказывали мне и Ольга Михайловна Велиговская. Иногда они после "перевоспитания" возвращались обратно.

– Только они приезжали оттуда сущими разбойниками, - добавляет Ольга Михайловна.

На этом я заканчиваю краткую историю Чичка-Юльского и Тарбеевского детдомов. Краткую, потому что далеко не со всеми ее очевидцами и участниками удалось встретиться за год поисков.

\* \* \*

## **Баржа**

(рассказ)

Было начало мая. Холодное нарымское солнце ни капельки не прогрело находившую за долгую зиму землю. Его робкие лучи лишь на миг пробивались сквозь низкие, черно-серые тучи, непрерывной чередой ползущую с севера. От Кети дул упругий низовой ветер. Почву прихватило стылой коркой.

Андрей Степанов и Осип Антипов выбились из сил, до пота стараясь удержать в ладонях вырывающиеся ручки плугов.

Когда стало совсем невмоготу, они распрягли лошадей, чтобы подкормить и тоже дать отдохнуть. А сами, пристроившись на плуги, начали ладить самокрутки.

Запустив руку в кيسет за самосадам, Андрей тяжело вздохнул, не круто выматерился и тоскливо произнес:

– То ли дело у нас на Алтае. Не поля, а раздолье! Глазу не за что зацепиться, в какую сторону ни поглядишь! А тут - тьфу!

И было на что плевать. В их неуставной артели “Северное счастье” пашни всего-то полторы сотни гектаров. На родине столько имели всего с десятков добрых хозяев. А теперь они все тут, бывшие хозяева. В глухой нарымской тайге ковыряют эти клочки земли целым колхозом, чтоб не было ни дна, ни покрывки тем, кто это придумал.

Но артельщики таили мысли за семью замками. Попробуй-ка, выскажи их вслух - в первую же ночь за тобой придут и заберут по линии НКВД. И увезут туда, откуда пока еще никто не вернулся и ни слуху, ни духу, ни от кого нет.

Осип, будто подслушав, о чем думает Андрей, сказал:

– Этой ночью забрали сразу семерых мужиков.

– Молчи! - прервал его Степанов. - Даже за такое сообщение могут запросто арестовать, и поминай, как звали!

– Да а, - протянул Андрей, ни слова сказать, ни в мыслях затаить. Куды ни кинь, всюду клин.

Они и на Алтае жили в своих избах - пятистенках по соседству, и тут срубили для своих семей один барак, разделили его капитальной стеной на две половины. Считай, тоже пятистенки, но уже на два хозяина. Одно хорошо - лесу здесь хватает, не скупилась на него, когда строились.

Друг дружку-то они не опасались, да ведь и по ветру их голоса до кого-нибудь невидимого дойдут. А не дойдут, тот сам придумает ложный донос, стоит ему только увидеть мирно сидящими рядом и о чем-то беседующими.

Андрей с Осипом, как выехали на весновспашку, соорудили в березовом околке себе шалаши из кольев и веток, утеплили их прошлогодней соломой из одонков скирд, сохранившихся по краям поля, так еще и не были дома. Ночью, конечно, холодно, зато казалось безопаснее не торчать на глазах у зверюги-коменданта и стрелков - всесильных властителей спецпереселенческого участка.

Но те оказались всесильными не только в поселке.

После полудня, ближе к вечеру, похолодало еще сильнее. Из низких туч, совсем больше не пропускавших на землю солнечных лучей, повалил снег. Он косо лепил крупными хлопьями.

И тут сквозь едва проницаемую белую пелену на дороге замаячили черные тени. Скоро оттуда донесся грубый требовательный голос коменданта Беспалова:

– Антипов, Степанов!

– Здеся мы! - так же громко отозвался Андрей в недоумении.

– Подать ко мне! - строго приказал комендант.

Мужики поплелись к дороге наугад - на голос Беспалова.

С комендантом оказались двое незнакомых людей в военном обмундировании, с маузерами на боку у каждого. Все торе верхом на добрых лошадях.

У мужиков враз оборвалось сердце, они поняли, что эти приехали за ними. Нашли и тут, казалось бы, за глазами.

Пахари понуро двинулись впереди всадников в сторону поселка, но вдруг остановились, вспомнив о брошенных без присмотра лошадях.

– Вперед! - понукал Беспалов.

– Кони и плуги, - начал более разговорчивый Андрей, но комендант прикрикнул:

– Шагай! - и чуть позже добавил, как бы снисходительно:

– Пришлю за ними других.

До спецпереселенческого поселка Елочки от полей будет версты полторы, но шли долго и тяжело: под свежим снегом под ногами расползалась глубокая грязь, и как ни понукал мужиков Беспалов, а те хоть и бежали впритруску, этот путь показался Степанову и Антипову бесконечным. И куда они так торопились, никто из них внятно не смог бы объяснить. В поселке им не дали зайти даже домой, возле комендатуры впахнули в уже готовую к этапу нестройную колонну еще с ночи арестованных мужиков и сразу же послышалась команда двигаться.

Вот тебе и “Северное счастье”! Придумали же поселковые власти такое издевательское название по приказу созданной артели.

Этап направлялся в окружное село Колпашево, до которого больше двухсот верст киселя хлебать. А снег валил все пуще и пуще, но грязь под его толстым слоем не только не твердела, она, наоборот, становилась все глубже. Ноги арестованных в худых сапогах уже давно до колен хлюпали в ледяной влаге портянок и “горели” на ходу. Это и спасало их от обморожения.

Сперва Андрей с Осипом шагали бездумно, тупо уставившись в дорогу и не видя белого свету. Потом, чтобы как - то забыться, стали вспоминать свою прошлую жизнь. Времени для этого было сверхдостаточно, до окружного села шли шесть ден с лишним.

В Алтайские степи родители привезли их грудными младенцами, переехав с Черниговщины туда по переселению как в девятьсот втором году. Андрей в семье был десятым ребенком, а Осип - восьмым. Но за долгую дорогу ребятишек в семьях поубавилось: и у Степановых, и у Антиповых умерло по двое ребятишек. Оставшиеся, правда, дожили до тридцатого года, все повзрослели: парни поженились, а девки повыходили замуж. У Степановых на Алтае образовалось десять семей, а у Антипиных - семь. Все были трудяги, обзавелись собственными пятистенками, скота имели не густо, но в каждой семье по две-три коровы, от двух до четырех лошадей. Пашни еще со стольпинских времен остались по пятнадцать десятин на каждую мужскую душу. Жили все не роскошно, однако сыто, от проданных излишков хлеба, мяса, молока имели деньжонки, обзавелись неплохой

одежкой, по праздникам в лохмотьях не ходили. Однако и ребятни в каждой семье расплодилось тоже полным-полно.

В двадцать девятом и тридцатом годах всех крестьян стали загонять в колхозы, а их скот сгонять на общий двор, добронажитый сельхозинвентарь свозить туда же. Сперва не оставили даже коров, поросят и кур. Степановы и Антиповы почти одни могли бы объединиться в целый колхоз, но как раз их-то туда никто не приглашал. Все их семейство определили в “кулаки” и в начале мая тридцатого года отобрали пашню, дома, скот и лучшую одежду, запасы хлеба, оставшиеся после сева, погрузили на мобилизованные подводы и отправили на станцию. Тут мужчин отделили от своих семей и посадили в каталажку, а родителей, жен и ребятешек загнали в скотские вагоны. В них и везли почти две недели до Томска высланных в Нарым. В тесноте и при скудном казенном питании сразу же началась смертность среди стариков и детей. У Степановых за эту дорогу скончались старики: отец - Аким Васильевич, и мать - Матрена Ивановна, оба преклонного возраста, но до этого еще бывшие крепкими людьми. Сразу убавилась одна семья, да и в остальных восьми умерло одиннадцать малых детей. Только Андреева семья похоронила под Томском сразу двоих маленьких.

Заметно поубавилась и семья Антиповых - у них умерла мать - Прасковья Семеновна, и дедушка Семен - столетний старичок. В шести молодых семьях Антиповых тоже похоронили троих ребятешек.

А от Томска до Елочки, построенной в глухой тайге самими же, везли на барже, в сыром трюме, на дне которого по колено стояла ледяная вода: сесть, а тем паче, лечь было нельзя; днем и ночью стояли в ней, ухитрясь лишь присесть на кукурки, чтобы создать видимость отдохновения. И так ехали без малого неделю. Такую “заботу” о крестьянстве проявила “родная” советская власть, ставшая для него злой мачехой.

К высадке на низкий болотистый берег в семьях Антиповых и Степановых осталось всего половина ребятешек из выехавших с Алтая больше двух десятков.

Из каталажки уже на месте свои семьи догнали только они двое - Андрей и Осип. Остальных их братьев вывели из нее на другой же день, и больше они там не появлялись, канули безвестно.

Теперь у них в Елочке остались лишь жены и по одному ребенку и снохи с ребятешками, уцелевшими во время дороги с Алтая.

В воскресенье семьи хватятся, а их кормильцы с полей не вернутся.

\* \* \*

А последний день пути, когда один из конвоиров оказался рядом с Андреем и вроде бы с сочувствием на него поглядел, тот спросил:

- Может, скажешь, далеко ли нас гонят?
- Далечно, откуда не возвращаются, - с тяжелым вздохом ответил конвоир.
- Уж куда дальше-то? - не понял намека Степанов.

И тогда конвоир сгладил:

– Нарым, поди-ка, Кетью не кончается.

В Колпашево этап арестованных, разросшийся до огромной колонны в прикветских селах и спецпереселенческих поселках-участках, не завели, а загнали в сарай, над которыми были лишь дырявые крыши, на подсобном хозяйстве НКВД. Место это называлось “Собашником” - когда-то сюда выкидывали околевших животных. Но окружное село находилось неподалеку.

Арестованных сразу же заставили работать. Днем мужики пахали, боронили и сеяли овес, садили капусту, а под вечер рыли какие-то рвы на “Собашнике”, находившемся через лес от сараев. Для чего требовались эти не шибко глубокие, но длинные ямы, - догадывались, потому что сморенные каторжным трудом с рассвета до заката, сквозь тяжелое забытье слышали из-за леса выстрелы. Утрами же, пораньше от обитателей сараев отделяли небольшие партии арестованных и угоняли их в сторону “Собашника”, откуда они уже никогда не возвращались. Каким-то путем до оставшихся дошел слух, что угнанных помещают в колпашевскую каталажку. И каждый подобной участи ожидал для себя.

Все мечтали о том, чтобы сев и посадка капусты подольше не кончались и тайком тянули время, работая, особенно на пахоте, через пень колоду.

Все опробовали ударов прикладами поторапливающих конвоиров, но терпели и упорно продолжали свое. Да и от плохой кормежки многие так отощали, что еле держались за плуг, ходили по борозде, спотыкаясь и падая. И тогда приклады опускались на их спины с особой яростью.

Опробовали не раз их и Андрей с Осипом. Антипов однажды не выдержал и отчаянно вскрикнул, обращаясь к бывшему его охраннику:

– Креста на тебе нет, так побоялся бы бога! Нелюдь ты, что ли?

– От нелюдя слышу! - зло огрызнулся тот, и удары по спине мужика возобновились с новой силой.

После этого Антипова чуть живого увезли в больницу. Там он встретился с умирающим от водянки жителем Елочки, арестованным в один день с ним и Андреем, и не так давно уведенным с одной из партий на “Собашник”. На последних вздохах тот рассказал, что на “Собашнике” они закапывали рвы, заполненные расстрелянными. Один из них даже стонал, но конвоиры подгоняли поскорей работать лопатами, и он своими руками закидал землю живого.

– Нет, Осип, нелюди над нами издеваются! - воскликнул умирающий. Это были его последние слова.

Они были сказаны так громко, что Антипов испугался за себя и стал озираться вокруг, не слышал ли кто из больничных служащих. Донесут и тогда и ему не выйти отсюда живым.

Немного поправившегося в больнице Осипа Антипова на подсобное хозяйство не вернули, а поместили в каталажку, находившуюся в подвалах здания НКВД. Каждая камера здесь была до отказа забита арестованными. С вечера в ней все могли только стоять вплотную друг к другу, а в полночь многих забирали наверх. Оставшиеся не знали, что часть из ушедших вводилась в одну из глухих камер, и там расстреливали каждого в

затылок, а другая - выводилась во двор, где всех убивали возле глубоких ям, третью увозили расстреливать на “Собашник”. Ни одной ночи не было этому перерыва.

Один из надзирателей, знавший об этом, рехнулся. Однажды он, открыв камеру, в которой сидел Осип Антипов, вошел в нее и запер за собою дверь изнутри, забился в один из дальних углов среди арестованных и громко зашептал:

– Уводят, увозят, убивают. Каждую божью ноченьку.

Был полдень, и арестованные видели, как по молодому лицу из остановившихся безумных глаз стекают крупные слезы. Забыв о собственной участи, все обитатели камеры пожалели несчастного парня, а тот продолжал шептать:

– Сам стрелял и в затылок людей, и в тайной камере, и во дворе, на яру и на “Собашнике”. Сам был исполнитель. Это когда я заболел, меня назначили надзирателем.

Кто-то из энкавэдэшников донес на своего товарища, и его вскоре силой увели из камеры, больше он в здании не появлялся.

Оставшись один после уезда Осипа в больницу, Андрей пробыл на подсобном хозяйстве до самого конца сезона. К этому времени осталось совсем мало арестованных, не больше, чем на парк партий, ежедневно угоняемых на “Собашник”. Не разделяя, оставшихся тоже повели туда. Когда Степанов узнал, зачем их туда пригнали, то с ужасом понял, что уже никогда не вернется к своей семье, и машинально работал лопатой, выжданной прямо возле самого рва с телами убитых. После такого свидетелей в живых не оставляют. Их немедленно расстреливают. Андрей в гражданскую войну был в заложниках у красных партизан за уклонение идти в их банду, лишь чудом спасся.. Белые тогда выбили из села и освободили заложников. После того Андрей прятался от тех и от других до самого конца братоубийства. Теперь, уверенные в полной безнаказанности, партаппарат и НКВД ничем не отличались от уголовников, как и любой убийца, старается избавиться от свидетеля, так и эти все делали, тут же заматывая следы своих бесчисленных преступлений.

Уверенность в трагическом исходе собственной судьбы Андрея даже как-то успокоила, и он только молил Бога о том, чтобы его долго не мучили, а убили сразу. Вины он за собою не знал, это-то и вселяло уверенность в том, что в живых его с Осипом Антиповым и никого из всех других арестованных не оставят. А работа на “Собашнике” стала убедительным подтверждением его убежденности. Никаких надежд на жизнь больше не оставалось.

\* \* \*

Секретарь окружного комитета ВКП (б) Владимир Ильич Майков, по обыкновению, вернулся домой близко к полуночи, устало скинул с себя полувоенного покроя костюм: полуголифе и толстовку из новенькой темно-синей, почти черной диагонали, облачился в легкую домашнюю пижаму и блаженно опустился на упругий кожаный диван. Спать, вопреки предыдущим ночам, когда укладывался в постель, едва добравшись до дома, сегодня вовсе не хотелось.

Майков все еще был под сильным впечатлением от полчаса всего тому назад законченного разговора по радиосвязи с самим секретарем краевого ВКП (б) Эйхе. Все его существо торжествовало и пело от ощущения собственной значительности и важности. Не всякий низовой партийный руководитель удостоивается высочайшей чести поговорить вот

так вот, напрямую, с этим легендарным человеком. Во всяком случае, Майков считает Эйхе без малого таким же вождем, как и сам Владимир Ильич Ленин. А уж соратники-то они - точно.

Секретарь окружкома доложил вождю Сибири о том, что задание крайкома по уничтожению “врагов народа” в Колпашеве успешно выполнено и даже перевыполняется на двадцать человек. Внес встречный план, заранее обговоренный с начальником окружного НКВД Мартоном, еще ликвидировать в Нарымском крае полторы тысячи “вражин”.

Эйхе официально вынес окружному ВКП (б) и окружному НКВД благодарность за выполненную досрочно разнарядку крайкома, а в ответ на предложение Майкова, придав своему голосу строгое недовольство, воскликнул:

– Что у вас враги народа как грибы растут?

Майков, не приняв нового тона в голосе вождя, серьезно заверил по-военному:

– Так точно, товарищ секретарь краевого комитета ВКП (б), растут, в тайге живем, что грибов, что клюквы-ягоды, что врагов народа рвать - не перервать. С корнем всех постараемся вырвать, только дайте на это разрешение.

Эйхе продолжительное помолчал, вспомнил, что в Нарым больше всех было сослано “кулаков” и произнес твердо:

– Даю. Награды за мной. Только списки намеченных к расстрелу предварительно присылайте мне на утверждение. Сколько бы в них фамилий не было. Учти, сам товарищ Сталин дал мне право первой подписи. И руководствуясь этим указанием, я лично буду визировать все эти списки. Выполним Ваше указание беспрекословно, - заверил Майков.

Сейчас во всех деталях в памяти секретаря окружкома прокручивался руководящий голос сибирского вождя, восстанавливалась каждая его нотка. Анализируя этот разговор, Майков остался вполне доволен собою, кажется, в этом разговоре с высочайшей инстанцией он не допустил ни единого опрометчивого промаха. Определять же все тонкости речи секретаря крайкома секретарь окружкома просто не был способен. Его интеллект был не настолько высок, чтоб разбираться в нюансах.

Майков родился в 1900 году в Бийском округе Алтайской провинции Томской губернии. Как раз его родители только-только переселились туда с Тамбовщины. Остановились в крупном лесостепном старожильческом селе. Большой группе переселенцев из России негде было строиться в нем. Они выстроили отдельную деревеньку в полутора верстах и назвали ее Выселками.

С десяти до семнадцати лет седьмой ребенок в многодетной бедной семье, он батрачил на крепких чалдонов в большом селе каждую зиму. А летом он пас поселковых коз, овец и коров.

Майков был парнем крупным, но, как и отец, не шибко хозяйственным, хотя с малолетства сам запрягал в телегу и сани лошадей, умел в одиночку накладывать на лугах сено на сани и завязывать их веревкой под бастрик, ловко пилить двуручной пилой и колоть дрова. Все это он и делал, но прилежным не был. Каждое лето у него из стада терялись овцы и телята, и уже в середине сезона его заменяли другим пастухом. Часто выгоняли его и

зимами, застав спящим в скотских яслях на мягкой подстилке из сена. Однако парнем он был сильным, за что его принимали на работу в другом месте.

После октябрьского переворота семнадцатого года более полутора лет Майков болтался без дела, прикармливаясь в отцовом хозяйстве. Летом девятнадцатого года он прибил к одному из многочисленных партизанских отрядов армии Мамонтова и Громова. Отряд был маленький и не столько сражался с белыми, сколько бегал от них, скрываясь в тайге, а то, выходя на кормежку в небольшие деревни и хутора, без разбору, под видом реквизиции, грабя крестьян.

В одном из хуторов, где он остановился помыться в бане, а парнем он был красивым, видным и рослым, Майков приглянулся молодой хозяйке, и она тайком от своего мужа прокралась к нему в баню. Прямо на полке они с ним и согрешили. Когда кончили, парень предложил женщине, тоже ослепительно красивой:

– Глашенька, уйдем вместе в отряд?

– Да я б ушла с тобой, дык муж отомстит. Готова за тобой пойти хуч на край свету, - призналась женщина с мягким украинским произношением и вновь повторила:

– Куды ж от мужа деваться? Прибьет ведь.

– Я счас! - решительно произнес Майков и, натянув на мокрое распаренное тело подштанники и, набросив прямо на голый торс добротный полушубок только утром отобранный на соседнем хуторе, схватил винтовку и, женщина не успела моргнуть и глазом, как он уже хлопнул дверью.

Ей показалось, что почти сразу же из избы донесся приглушенный ее стенами выстрел. Через короткое время парень воротился в баню и сообщил буднично:

– Скинул твоего подлюгу в подполье.

Детей у хуторян не было, как потом и у Майковых, и Глафира Тарасовна, как звали женщину, пошла партизанить с этим отчаянным парнем.

В двадцать втором Майков - боец частей особого назначения (ЧОН), непосредственно в карательном отряде под командованием лихого головореза Ивана Долгих, называвшемся первым истребительным. Каратели, врываясь в села, объявляли их бандитскими, рубили шашками и сотнями расстреливали крестьян, не признававших кроваво утверждавшуюся советскую власть.

Теперь его бывший наставник Иван Иванович Долгих - большая шишка в краевом УНКВД. Это он возглавил подавление бакчарского восстания в начале тридцатых годов. Тогда сотни объявленных непокорными крестьян в спецпереселенческих поселках и селах были убиты в “боях” и арестованы, хотя ни в чем не были повинны. Теперь Майков, узнав о “героических” делах своего наставника, гордится им и стремится ему подражать в борьбе с “врагами народа”. Но тогда Майков еще был на Алтае, и теперь жалеет, что не находился в бакчарских событиях рядом с Долгих.

Когда массовые карательные действия против крестьян на Алтае закончились, а отец с матерью, братьями и сестрами повымерли от голода, их тоже не миновала большевистская продразверстка и грабежи красных и белых, Майков снова несколько лет батрачил. А года за

два до коллективизации он возглавил на Выселках Комитет бедноты. В алтайских степях кое-где уже появились колхозы. Майков со своими комбедовцами тоже повел подготовку к объединению выселковских крестьян, благо среди них начисто не было зажиточных и даже середняков. Выделенные как столыпинские переселенцы свои пятнадцать десятин земли на мужскую душу никто из них полностью не засеивал, и большинство перебивалось с хлеба на квас.

К концу двадцать девятого года в Выселках как-то почти само собою возник колхоз, но скота и сельхозинвентаря, даже плугов, не хватало к грядущей весне, чтобы вспахать всю объединенную пашню, а для посева - семян зерновых культур.

Выручила начавшаяся почти с начала тридцатого года массовая коллективизация. Весной же и вовсе у всех трудолюбивых мужиков начали отбирать дома, скот, хлеб, великим трудом нажитое добро, а самих их - арестовывать и без малого поголовно расстреливать. Осиротевшие их семьи увозили в Нарым.

Майков сперва был конюхом в своем колхозе "Зажиточный путь, но тоже весной первого председателя перевели в район председателем исполкома, а его как бывшего "геройского" партизана и чоновца райкомом ВКП (б) неожиданно назначил на его место. И ни одной зимы не ходивший в школу, Майков с этой поры круто пошел вверх по служебной партийной лестнице. Правда, во время ликвидации неграмотности, в середине двадцатых годов парень научился читать и писать, увлекся газетами, а на собраниях партячейки (в партию большевиков он вступил еще в чоновские годы) научился без запинки произносить речи, да и бумажка, заранее подготовленная грамотными сподвижниками по комбету, впоследствии здорово помогала.

Уже через год, когда у него не пошли дела в колхозе, Майкова перевели начальником одного из отделов райколхозсоюза, а оттуда - инструктором райкома ВКП (б). К тридцать пятому году он был уже инструктором, а вскоре и заведующим отделом Бийского окружного комитета горячо любимой им партии-кормилицы. Вот уж тут-то приходилось прикладывать руки к физическому труду для прокорма себя и Глафиры Тарасовны. На руководящей работе достаточно было лишь ловко подвешенного языка, а он к тому времени у него был хорошо натренирован.

И внешний облик Майкова соответствовал образу партийного руководителя: высок, плотен, но не жирен, подтянут и строен, красив с лица. Подводила немного лишь ранняя лысина и плешивость с несколько тщательно расчесанными светлыми волосами на высоком, выпуклом лбу. При всем этом более высокому партийному начальству импонировали его аккуратность в одежде и внешняя лохочность, готовность беспрекословно и точно выполнять любое задание, директивы. Словом, тридцать шестого года Владимира Ильича Майкова перевели в распоряжение престижного Томского округа, а там не задержали и выдвинули сразу секретарем Нарымского окружного комитета ВКП (б). Так он оказался и легко прижился в Колпашево.

Удачным сочетанием своего имени и отчества этот партдеятель окружного масштаба сильно гордился, хотя они ему достались совершенно случайно, когда народ страны еще не догадывался, что у него будет вождь именно с таким именем и отчеством.

Кроме мужа своей Глафиры Тарасовны, убитого им собственноручно, Майков считал, что на его руках нет человеческой крови, рекой лившейся вокруг него и под его прилежным и активным руководством.

Правда, не так давно он сдал Мартону одну пожилую женщину, закадычную подругу своей супруги - Зинаиду Петровну, уроженку далекой Японии, но русскую по происхождению. Как считали сам Майков и начальник окружного НКВД, Зинаида Петровна была из дворян, и подлежала обязательной ликвидации.

Глафира Тарасовна, безграмотная, как и ее высокопоставленный муж, тянулась к ней, сорокадевятилетней женщине, за ее образованность и интеллигентность и вместе с тем за ее простоту, за то, что та деликатно прощала ее тупость и невежество во всем: в речи, пристрастии к матерщине, любой прямооте высказываний обо всех знакомых, в нетерпимости к прекословию с нею.

Целыми днями эти женщины просиживали за самоваром. Зинаида Петровна, ни на миг не отрываясь от вязания кофточек, чулок, носков, перчаток и рукавичек из шерсти, рассказывала хозяйке о своей жизни в Японии, других диковинных дальних странах, пересказывала содержание интересных, захватывающих книг, а та готова была слушать ее с утра до ночи, при этом, угощая сытными и вкусными продуктами, недоступными в Колпашево для всех других, и не разрешала скромничать и стесняться. Из ее уст часто вырывалось:

– Ну, что ты модничаешь, не ешь, как следует? Какую манду из себя корчишь?

Гостыя краснела, но не обижалась на грубость хозяйки. И этой привязанности не мешала разность в возрасте: Глафира Тарасовна была на пять лет старше своего мужа, но на семь - моложе Зинаиды Петровны.

Начальник же окружного НКВД Мартон постоянно говорил секретарю окружкома ВКП (б):

– Ну, что твоя супруга нашла в этой говенной дворянке? Если б не ты, я б давно ей сам пулю залепил в затылок. Давай, я сегодня же ночью пушу ее в расход.

– Не смей этого делать! - возражал Майков почти испуганно. - За это моя Глафира Тарасовна живьем меня сожрет. Ты ее не знаешь.

– С говном съест? - хохотал Мартон, но не забывал напомнить, что давно пора расстрелять Зинаиду Петровну, почти ежедневно.

И улучив момент, пока Глафира Тарасовна, как и сейчас, ездила на родину погостить, арестовал обреченную женщину, и ее расстреляли, как раз в день ее сорока девятилетия. Майков не возражал, понимая и считая, что рано или поздно это было нужно сделать.

Он был готов признать кровь второй человеческой души на своих руках, но только не всех расстрелянных по разнарядкам крайкома ВКП (б), выполняющего волю центрального комитета. Он даже не задумывался над тем, что кровь людей, которых запросто убьют на основе его встречного плана, одобренного Эйхе, тем более обогрив его холеные, но когда-то бывшие крестьянские руки. Крестьянская же кровь, тех самых мужиков, которых он сам грабил в тридцатом и отправлял семьями в Нарым, где и сам по воле партии оказался, но теперь уже начальником очень высокого ранга.

Сейчас, после шумного дня среди людей и суеты на работе, дома угнетала Майкова могильная тишина. Глафира Тарасовна уже как неделя снова уехала на Алтай погостить у родни, а домработница Ага спала в своей каморке, дверь в которую вела из прихожей.

Владимир Ильич сидел, не зажигая света. Утомившись от воспоминаний о разговоре с вождем Сибири, он расслабился и вспомнил о жене, ее ревности. Глафира Тарасовна всем своим нутром не переваривала его склонность заглядываться на каждую смазливую, как она без обиняков говорила, бабу.

В этом деле для Майкова возраст приглянувшейся женщины не имел значения. И об этом знала Глафира Тарасовна. Спервоначалу, как только они обосновались в Колпашево, супруга привела в домработницы женщину, как и Зинаида Петровна, лет под пятьдесят, из отбывавших ссылку, ленинградку. Та тоже была дворянского происхождения, следила за собою и выглядела вдвое моложе своего возраста. Красотой она изрядно превосходила Глазури Тарасовну, и та уже через неделю уволила ее, а Матрон вскоре отдал ее под расстрел.

Тогда и появилась в доме эта шестнадцатилетняя в тот момент ясачная девчонка. Росточка она была мизерного, тонюсенькая, как полевая былинка, и Владимир Ильич не захотел даже рассматривать ее лицо. Нечего было разглядывать, Ага выглядела совсем ребенком, хотя умела ловко выполнять любую домашнюю работу, что особенно устраивало Глафиру Тарасовну.

Но за год жизни в доме Майковых Ага заметно вытянулась, на вольных и сладких харчах ее фигурка выдобрела, личико семнадцатилетней девушки оказалось даже смазливym, ровные, некрупные и плотные ее зубки ослепительно сияли жемчугами, когда она улыбалась. На это превращение забитой нуждой Золушки сразу обратила внимание Главари Тарасовна и безапелляционно заявила:

- Надеюсь, на инородку-то ясашную ты не позаришься!
- Не позарюсь, будь уверена, - с готовностью подтвердил Майков и по-прежнему будто-бы не обращал на домработницу ни малейшего внимания.

Даже старался и вправду не делать этого. Сейчас же Майкову будто наяву показалось, что Ага в горнице и по дневному светло, а девушка стоит напротив и призывно улыбается ему, вызывая сильное плотское желание.

- Ага! - громко вырвалось из его уст. - Агочка!

Последнее слово Владимир Ильич произнес впервые, и оно показалось ему чудесной музыкой.

Девушка не отзывалась на его зов, затаившись в невольном страхе.

- Ага-а-а! - как в глухом лесу снова закричал хозяин - Ага-а-а-а!

Девушка нехотя поднялась из нагретой собственным телом постели, накинула на узкие плечики легкий ситцевый халатик и, не торопясь, принялась застегивать его на все пуговицы.

- Ага-а-а! - донеслось из горницы более требовательно.

Замирая от страха, домработница босыми ногами прошлепала через прихожую, невидимо замерла на пороге горницы.

- Я Вас слушаю, Владимир Ильич! - чуть слышно промолвила она.
- Принеси-ка стакан спирту, произнес Майков первые пришедшие ему на ум слова.
- Счас, Владимир Ильич! - с облегчением отозвалась Ага.

Вскоре она появилась из кухни, где зажгла свет, с небольшим медным подносом и на нем стаканами, одним стаканом полным спирта, другим - воды. Приблизилась с ними вплотную. Даже в полутьме, по-прежнему сохранявшейся в комнате, Майков почти зримо увидел под халатиком юное упругое тело изящных форм, будто звериным чутьем ощутил его нежный манящий запах. Взяв в правую руку стакан со спиртом, а в левую - с водой, он на едином дыхании проглотил захватывающую дыхание влагу, шумно выдохнул и отпил несколько глотков воды, требовательно сказал:

- Поставь поднос на стол и садись рядом.
- Зачем? - в испуге пролепетала девушка, чувствуя себя кроликом перед удавом.
- Да просто, посидим рядком да поговорим ладком, успокоительно ответил Майков.

Девушка подчинилась, но села в изрядном удалении от него. Однако она не успела и глазом моргнуть, как тот огромными лапами придвинул ее вплотную к себе и левой рукой придержал за тонкую талию, все более распаляясь желанием плотской близости. Неожиданно девушка с силой вывернулась из его объятий и оказалась еще дальше, чем была раньше, охладила пыл хозяина:

– Стыдно Вам, Владимир Ильич, пользоваться моей беззащитностью. Вы для меня почти как Ленин!

От неожиданности Майков на мгновение опешил, словно его окатили колодезной водой из полной бадьи. Но он тут же пришел в себя и, протянув длинную руку, пальцами ухватился за ворот девичьего халатика, намереваясь сорвать его, зная, что он ветхий, едва держится.

И тут Ага пронзительно закричала на весь дом:

- Отстань, грязный кобель!

Слово “кобель” да еще “грязный” почти окончательно остепенили пыл секретаря окружкома ВКП (б). Девушка же метнулась к выходу из дома, но Майков спокойно сказал:

- Уходит не смей! Ложись, я не трону!

Немного поколебавшись, Ага юркнула в свою каморку и до самого утра больше уже не сомкнула глаз.

На утро Майков, не дойдя до окружкома, завернул в здание НКВД. Зашел в кабинет Мартона, от порога мрачно произнес:

– Забери мою домработницу. Сегодня же. Она оказалась самой подлой и махровой вражиной.

– Этот ребенок - дитя самой природы? - вырвалось у начальника НКВД, и многозначительно помолчав, в ожидании реакции секретаря окружкома ВКП (б), но тот никак не отреагировал, Мартон съязвил:

– Что, не дала тебе? Хорошо, воля твоя, а я впервые репрессирую коренную инородку. Селькупку.

– Репрессировать можно по-разному, ты ее расстреляй! - зверя, отрубил окружкома ВКП (б).

– Хорошо, повторил начальник НКВД, - я ее запросто убью. Возможно собственной, вот этой рукой.

Он вытянул в сторону Майкова свою правую руку, пожимал и поразжимал перед самым его носом длинные музыкальные пальцы и быстро предложил:

– А может быть, ты это сделаешь сам?

Сперва Майков остолбенел, не находя, что сказать, но тут же вскрикнул, изображая неподдельное возмущение:

– Да ты, что, товарищ Мартон?!

– А-а! Брось, не строй из себя невинность! - не скрывая брезгливости, обрезал его начальник окружного НКВД и добавил:

– Расскажи лучше, как ты убил мужика Глафиры Тарасовны.

Рот Майкова невольно немо раскрылся на всю свою ширь, лицо мгновенно сделалось белым, красным и с сизыми пятнами. Не скоро придя в себя, секретарь окружкома ВКП (б) удивился:

– Даже об этом тебе известно?!

– А за кого ты меня держишь, товарищ Майков? Каким бы говенным чекистом я был, если б не знал о тебе больше, чем ты сам?

– Ладно, - окончательно опомнившись, заговорил Майков. - Только в моем доме ты ее не бери.

– Ночью-то все пройдет шито-крыто, - успокоил Мартон.

– Все равно нет, - заартачился секретарь окружкома ВКП (б) и добавил: - Попозже вечером вели ей явиться к тебе...

– Не учи ученого! ...- оборвал начальник окружного НКВД и закончил: - Все будет сработано чисто.

– Ну, в этом-то я уверен, - одобрительно проговорил Майков и продолжал:

– На казнь не забудь позвать меня.

– Хочешь насладиться желанным зрелищем? - тонко съязвил Мартон и не без ехидства спросил: - А тебя не вырвет после этого?

Но Майков этого не заметил, еще оглушенный осведомленностью начальника окружного НКВД. Сказал:

– Или я не мужик?

– Ну-ну, посмотрим, - загадочно буркнул Мартон.

В этот же день возле выхода из спецмагазина, существующего для окружного начальства - парт - и советских работников и энкавэдэшников, к Аге подошел молодой человек в штатском, зыркнул бегающими глазками в одну- другую сторону и, убедившись, что близко никого нет, буднично, будто в дружеской беседе сказал:

– В одиннадцать ты, ясачная рожа, должна явиться в НКВД, в кабинет самого начальника.

– Является - черт во сне! - бойко кинула домработница Майкова, до нее еще не дошло значение сказанного незнакомцем, почему-то знающим ее.

По настоящему она испугалась, лишь подойдя к зловещему для каждого колпашевца зданию НКВД. О нем ходили жуткие слухи, но толком правду о нем не знал никто ни тогда, ни несколькими десятилетиями позже. Сердце девушки враз оборвалось, и в это учреждение она вошла на ватных ногах и с трясущимися губами.

Возле входной двери, еще на улице, ее встретил порученец Мартона в милицейской форме и проводил ее не в кабинет своего начальника, а сразу в камеру. Но там, в тесном помещении без окон, не было никого. Когда дверь за девушкой захлопнулась, она оказалась в кромешной темноте, в которой сразу кто-то забежал и начал издавать пронзительные звуки, похожие на свиное хрюканье. “Крысы!” - в ужасе догадалась Ага. Их-то она всегда до смерти боялась. Спиной прямо влипла в дверь и опасалась даже пошевелиться, а серые твари уже бегали по ее ботинкам, старались взобраться до колен. Девушка начала трясти ногами в разные стороны, сбрасывая крыс на пол. Изнемогая и забыв обо всем на свете, Ага более полутора часов боролась с ними, хотя не имела представления о том, сколько времени прошло после того, как ее втолкнули в каталажку.

В это время Владимир Ильич Майков, закончив все свои дела, вставал с кресла, собираясь идти домой. Телефонный звонок остановил его, когда он уже брался за дверную скобу.

– Это Мартон с тобою говорит, Владимир, - деловым, но одновременно и панибратским тоном, произнес начальник НКВД.

– Да узнал тебя, узнал! - нетерпеливо отозвался Майков, настроенный поскорее идти домой.

– Подходи-ка ко мне, - сказал Мартон и добавил: – Ты же сам хотел поглядеть, как я полюбезничаю с твоей домработницей.

– А-а-а! - опешил Майков и даже заикался: - К-к-ак-к? Т-так-к с-скоро?

– Это не телефонный разговор, товарищ Майков, поживее приходи! - оборвал Мартон секретаря окружкома ВКП (б).

Едва войдя в кабинет начальника НКВД, Майков сразу заметил, что тот изрядно навеселе, но все ж таки задал загодя заготовленный вопрос:

– Ты, что, товарищ Мартон, прямо сегодня хочешь ее расстрелять?

– Выражайся точнее: убить, понимаешь, убить! - на повышенном тоне, зло отвечал начальник окружного НКВД и продолжал бросать:

– Мы здесь не расстреливаем. Мы убиваем! Расстреливают по приговору суда. А где суд у нас - председатель, заседатели, прокурор, адвокат? Следователи инсценируют и фальсифицируют вину невинных. Это и есть “суд”, а следом высылаем списки на десятки, сотни, тысячи человек. Там, в Новосибирске, тройки только подписывают, только подписывают их, а мы здесь убиваем.

– Что ты плетешь? - закричал Майков, останавливая подвыпившего Мартона, но тому, словно дурному коню, попала шлея под хвост.

– Да, я решил убить ее прямо сегодня. Зачем девчонки мучаться в нашей крысиной свинарне? Для чего отдавать нашим следователям-костоломам? А потом мы ее все равно уьем- все больше распалялся Мартон. - Все равно тройка утвердит фальсификацию наших следователей и вынесет ей смертный приговор. Эйхе и иже с ним завизирует наши почти ежедневные тысячные списки. А мы на основе одобренного им нашего встречного плана переьем вдвое, втрое, вчетверо больше невинных людей.

Мартон, хотя и был полупьян, понимал, что этой своей истерикой выносит и себе смертный приговор, бросил Майкову:

– А теперь сообщи своему Эйхе о моих крамольных мыслях!

– Да, бог с тобой! Неужели ты принимаешь меня за стукача?- возмутился Майков. Пока что он не принимал откровения Мартона всерьез. Да и то вдруг посерьезнел.

Немного помолчав, начальник окружного НКВД, будто враз отрезвев, сказал:

– Пойдем!

– Куда? - забывшись, спросил Майков.

– В подвал, сейчас ее туда приведут, отпустив секретаря окружкома на грешную землю, ответил Мартон.

– Майков невольно и неопределенно вздохнув, вдруг осознал, зачем сюда пришел, и поплелся следом за быстро шагавшим впереди начальником окружного НКВД.

Продолговатое, но узкое помещение подвала оказалось ярко освещенным. Здесь их уже поджидал комендант каталажки и врач - цветущий парень еще со студенческой скамьи пришедший сюда два года тому назад. Тут же было трое исполнителей пока еще с револьверами в кобурах. Мартон пожалел, что врач сегодня здесь - иногда обходились без

него, дублируя выстрел в затылок повторным в висок. Это была верная гарантия, что человек застрелен насмерть.

Пока Майков осваивался под ослепительным светом, двое конвоиров ввели девушку. По тюремным правилам ее руки были заложены назад.

Ага, ни на кого не глядя, прошла на середину помещения и остановилась. Да она никого и ничего не видела, после подвальной темени ослепленная сверхъярким светом. Это знал Мартон, и он спешил, пока девушка не освоилась и кого-нибудь не узнала, - хотя через минуту уже навечно не будет способной что-либо знать.

Мартон сам подтолкнул девушку вплотную к стене и, не мешкая, достал из заранее расстегнутой кобуры табельный револьвер, приподнял ее туго заплетенную черную косу, сунул его ствол под нее и нажал на спуск.

Круто развернувшись, он быстро зашагал к выходу, ни на кого не глядя, но все-таки успел увидеть, как вдруг переломился напополам секретарь окружкома ВКП (б) и из его рта толстым потоком низверглась рвота. Видно, Майков перед этим сытно поужинал в особом кабинете окружкомовской столовой. На домашнее угощение он сегодня не надеялся вовсе: жена все еще гостила на Алтае, а домработница только что предстала перед Богом.

– Я тебя предупреждал, Майков! - отчужденно и зло кивнул Мартон, стремительно проходя мимо, словно тот не был его единомышленником и сотрудником на этой отлажено действующей бойне.

А секретаря окружкома ВКП (б) рвало до зеленой слизи. Исполнители с помощью врача на руках, будто труп, вынесли его наверх и в кабинете начальника НКВД уложили на диван.

Пока Майков долго и тяжело приходил в себя, Мартон, распечатав свежую пачку махорки с томской табачной фабрики, и одну за другой сворачивая толстые и длинные самокрутки, выкуривал их. А его обычно любимая трубка, холодная и тщательно вычищенная, лежала на середине стола. Давно, с самой гражданской войны, он не стрелял в людей. А сегодня пожалел отдавать семнадцатилетнюю девушку на надругательства. Не арестовать ее тоже не мог, потому что на законном основании Майков доложил бы об этом в крайком ВКП (б), раз посчитал ее “врагом народа”.

\* \* \*

В Колпашево Андрей угодил в ту же камеру, в которой сидел Осип, и односельчане с радости долго обнимались и даже троекратно поцеловались.

Была уже глухая ночь. Тесная, на десятерых рассчитанная камера была битком набита почти сотней арестованных, а под потолком подслеповато горела малюсенькая, покрытая толстым слоем пыли злектролампочка. Никаких нар не видно, их даже здесь нет. Да и стоять-то было негде. Лишь после полуночи в камере начали набирать изрядную группу, в открытую дверь, выкрикивая по списку нужных арестованных. Но едва стало чуть-чуть посвободней, и обитатели камеры начали разминать затекшие от неподвижного положения ноги, как ее снова начали наполнять. На этот раз по всем камерам расталкивали корейцев и китайцев, конвоируемых с барж, приведенных буксирными пароходами сразу и с верховьев, и с низовьев Оби. Одновременно с этим доставляли и местных китайцев и корейцев. Вталкивая иностранцев в камеры, комендант и надзиратели повторяли:

– Японские шпионы, японский шпион.

Русские, украинцы и белорусы разворачивались к вновь прибывшим спинами. Кто-то громко произнес:

– Зачем этих свиней ссадят вместе с нами?

Но у тюремщиков был свой резон.

Один из китайцев на чистом русском языке произнес:

– Никакие мы не шпионы! Чекисты нарочно натравили вас на нас, китайцев и корейцев.

– Ага, заливай ивановскую! - усомнился кто-то из старожиллов камеры. - Так мы тебе и поверили. Как миленькие все признаетесь в шпионаже.

В камерах никто не считал себя “врагом народа”, потому что никто не знал за собою никакой вины, все считали: вот разберутся, увидят, что невиновен и отпустят. Но почему-то забывали, что закапывали тела убитых раньше них уведенных с сева. А теперь каждую ночь постепенно их товарищей куда-то уводили, и никто обратно в камеры не возвращался. Куда уводили, догадывались.

Однако о прибывающих китайцах и корейцах почему-то все думали: поймали настоящих шпионов и уж теперь-то невинных выпустят. И никто не задумывался, что и китайцы, и корейцы ни в чем не виноваты, как и все - они никакие не “враги народа”. Но уж такая русская натура, думать о других, что зря в каталажку не посадят. До самого последнего часа никто не считал, что находится в камере смертников, а ими были поголовно все арестованные: и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки, и немцы, и австрийцы, и теперь вот еще китайцы и корейцы. Встречный план окружкома ВКП (б) и окружного НКВД приводился в действие.

Для женщин общей камеры не было. Их брали по линии НКВД не пачками, а больше поодиночке, и все камеры каталажки были постоянно битком забиты мужчинами. Арестанток втискивали между ними.

Это поголовно были домохозяйки, домработницы, староверки и старухи, которых в протоколах записывали как лиц без определенных занятий, колхозниц.

Но еще до помещения в камеры они были так запытаны на допросах, с которых без признания несуществующей вины никто - ни мужчины, ни женщины, сутками, а то и по двое-трое суток, не уводились.

Следователи-садисты изнуряли всех голодом, выдерживали их все это время стоя. А кто падал, ослабев, того окатывали ледяной водой, снова ставили на ноги и продолжали допрос. Подобные пытки ломали многих, почти все “признавались в преступлениях”, какие им фальсифицировали следователи.

И когда после этого женщин вталкивали в камеры, им было уже все безразлично. Мужчины же жалели их, старались подбодрить, как-то расступались, чтобы те не были в общей давке.

”Повезло” лишь одной домработнице секретаря окружкома ВКП (б) - Аге, молоденькой селькупке. Она в карцере каталажки не провела ни ночи. Поздним вечером ее арестовали, а уже в полночь ее расстрелял сам начальник НКВД. Из арестованных об этом так никто и не узнал, а если б стало кому известно, то все равно из колпашевских казематов живыми не выходили. О таких, как Ага, впервые узнали лишь более чем пол столетия спустя, из списков, опубликованных газетами, из вышедших книг. А имена тех, кто еще не попал ни в эти списки, ни в книги, так пока и остаются неизвестными. И их еще много. Очень много, намного больше, чем уже попало в списки и книги. Тысячами погибших на обских островах, в баржах, затопленных с живыми людьми...

Женщинам, как и мужчинам, тоже стреляли в затылок. У убийц ни разу не дрогнула рука.

Колпашево было лишь мизерным островком в безбрежном море ГУЛАГа. И если уж тут еженощно убивали десятки, а ежемесячно - сотни и тысячи ни в чем неповинных людей, то на огромной территории этих округов - многие и многие тысячи.

Разгул расстрелов пришелся на осень и начало зимы 1937 года и продолжался в 1938 году.

Руководители Нарымского окружкома ВКП (б) и НКВД всерьез заопасались, как бы такое количество расстрелов не получило огласку среди населения. До сих пор считалось, что все делается так аккуратно, что о массовых расстрелах не знает ни одна душа, помимо причастных к ним на прямую, но те давали подписку о неразглашении тайны подвалов НКВД.

Ближе к концу сентября Мартон, встретившись с Майковым, сказал:

– Много патронов стали мы тратить, Владимир Ильич. Не успеваем их завозить. Да и пукают они шибко громко.

Майков, хотя и не понял его мысль, однако спросил:

– У тебя имеется какая-нибудь идея по замене, замене патронов чем-то иным?

(Дважды повторенное слово “замена” - не описка автора. Все ответственные партийные работники до сих пор неизменно увлекались и увлекаются подобным повторением слова. И сегодня можно сразу угадать в переукрашившемся администраторе и “демократе” партократа лишь по одному этому повтору).

Мартон же загадочно отвечал секретарю окружкома ВКП (б):

– Мало-мало рационализирую в уме.

– Загадки, загадки в твоём стиле, - досадливо заметил Майков, не терпевший немедленно узнать о замысле начальника окружного НКВД.

Но тот так и не раскрыл его, а у Майкова не было привычки добиваться чего-либо слишком назойливо.

– Окажи милость, одобри мою затею заранее, как говорится, не глядя, - не давая секретарю окружкома ВКП (б) опомниться, попросил Мартон.

– Если это поможет нам с тобой не сократить темпы выполнения нашего с тобой встречного плана. Эйхе его одобрил и снимет с нас голову, ежели мы сорвем его выполнение, - снисходительно согласился Майков.

– Выполнили же мы Постановление политбюро центрального комитета ВКП (б) от 31 июля сего года за месяц и девять ден, четко выговаривая русские слова, хвастливо отметил исполнительный венгр.

Мартон все гадал, придал ли Майков значение его болтовне перед расстрелом его домработницы, и приходил к выводу: если бы придал, то не быть бы теперь их встрече. Хотя, кто знает? Вполне резонно для Майкова дожидаться завершения их встречного плана. И его “рационализация” может хоть как-то оправдать его оплошность.

Партию арестованных, в которую попали Андрей Степанов и Осип Антипов, выводили из камер, вопреки обыкновению, не в полночь, а перед самым рассветом. И была она на этот раз необычно многочисленна.

На безлюдной пристани не великая колонна арестантов была уже через пять минут. Еще при выходе из здания НКВД всех предупредили:

– Дорогой и на берегу, чтоб ни звука! Кто нарушит, будет расстрелян на месте.

На черной, как деготь, воде в предутренней мгле еле угадывались огромные гребные лодки. По узким ребристым трапам арестованных загоняли в них, велели рассаживаться по сидениям и не издавать ни звука. Четверым приказали заложить гребные весла в уключины - их было две пары.

Лодки развернулись вниз по течению и без стука и плеска поплыли мимо села. К рассвету они были уже далеко от последних изб.

Предоктябрьская погода была сырой и промозглой. Низкие, непроницаемые черно-серые тучи, слившиеся в единое грандиозное полотнище, не пропускали слабые лучи осеннего солнышка. Дул сильный ветер, убыстряя ход лодок. На фарватере разударилась полтора-двухметровые волны, как в весеннее половодье, и лодки жались к берегу, чтоб не оказаться перевернутыми.

Проплыли уже верст десять, когда лодки обогнал небольшой катерок. Он шел под противоположным берегом и из-за волн был едва заметен. На нем проехали Мартон с Майковым.

Из-за начавшегося дождя совсем ухудшилась видимость. Скоро с катерка с трудом различили грузное тело огромной баржи. Её палуба горой высилась над волнами, с глухим и злым шумом бившимся о смоленые черные ее бока.

Баржа была вплотную притерта к высокому яру. Арестованных до нее не довели версты полторы. Лодки сперва вошли в тихую мелкую протоку, и здесь они взбирались на яр по отвесным уступам. Скоро, неожиданно для себя, они очутились возле самой баржи. За их спинами шумела темная стена елово-кедровой тайги.

Равнодушным уже давно ко всему арестованным вдруг сделалось жутко. В свете тусклого дня место показалось настолько мрачным и глухим, что вызывало невольный страх. Все сразу поняли, что отсюда никто из них не выберется. Короткие, но, как и всюду, узкие ребристые трапы, крашенные суриком, казались облитыми кровью. Они соединяли берег с палубой баржи без всякого наклона. Под трапами зияло узкое, но очень глубокое “ущелье”.

Многие, доставленные в Колпашево на точно таких баржах, в трюмах которых остались горы человеческих трупов, гадали, что же еще придумали палачи-убийцы.

На голой и ровной палубе баржи, кроме будки штурвального и огромной бухты нетолстой пеньковой веревки ничего не было, да еще рядом с нею стояла толстая березовая чурка с воткнутым в нее топором. Арестованные даже не сразу на него и веревку обратили внимание.

На палубе людей сперва выстроили посреди баржи в одну шеренгу, рассредоточено друг от дружки, затем разделили на две неравные части. Меньшую из них подвели к веревочной бухте и чурке с топором, а большую - к раскрытому посредине палубы люку. Им сказали, что на дне трюма находятся камни и их надо поднять вверх. Арестованные в сопровождении вооруженного охранника стали по одному спускаться каждый за камнем, но не выходили с ним наружу, а подавали оставшимся на палубе.

Меньшей группе приказали поочередно отрубать полутора-двухметровые куски веревки.

Когда на палубе появились камни крупнее человеческой головы и эти веревочные обрубки, все арестованные догадались, для чего их сюда привезли. Мало кто из них не видел кинокартину “Мы из Кронштадта” и утирал невольную слезу, видя те ее кадры, в которых показали, как белогвардейцы скидывали красных матросов с такого же высокого яра, как и тут. Но, похоже, их будут скидывать не с яра, а с борта баржи, нависающего над самой обской глубиной. Трапы, соединяющие баржу с берегом, убрали.

Майков с Мартоном, невидимые для арестованных наблюдали за всем происходящим на палубе из шкиперской будки в небольшое застекленное окошко. Снаружи всем распоряжался комендант каталажки. Секретарь окружкома ВКП (б) тоже сразу вспомнил эту “высокоревOLUTIONную” кинокартину и не удержался от восклицания:

– Это и есть твоя рационализация, товарищ Мартон? До этого вы додумались по кинокартине?

Начальник НКВД отмолчался. В этот день была лишь проба его патроносберегающей задумки.

А люди на палубе под дулами винтовок сами привязывали друг другу к грудям камни, комендант и старший надзиратель лишь проверяли, добросовестно ли они это делали.

Как только не осталось ни одного арестованного без камня, их опять же построили в шеренгу на самой кромке баржи лицами к воде. С бумагой в руке на середину палубы вышел Мартон и зачитал приговор “тройки”. Покончив с этой формальностью, он объявил:

– Сейчас приговор будет приведен в исполнение.

Кто-то из обреченных неожиданно для всех громовым голосом прокричал:

– Высшей мерой считается расстрел, а вы, злодей, додумались до такого невиданного зверства! Чем вы лучше белогвардейцев?!

Но исполнители с приткнутыми к винтовкам штыками наперевес уже надвигались сзади. Вскоре, утяжеленные камнями люди, начали срываться с палубы, многие, не дожидаясь, пока острое жало штыка упрется в спину. Водяная пучина с глухим плеском поглощала людей. Чуть за полдень все было кончено. Мартон вернулся в шкиперскую и, увидев неподвижно сидевшего в стороне от окошка Майкова, нервно клацающего зубами, издевательски бросил:

– А ты, чистоплюй, почему не вышел во время зачтения приговора? Хочешь остаться с не обгаренными чужой кровью руками?

Слова с побелевших губ начальника окружного НКВД срывались жгуче-ледяные и злые. Майков их прощал, больно задело только “чистоплюй”, и его-то, наверняка, припомнит впоследствии. А пока он терпеливо сносил все, понимая состояние своего соратника по убийству огромного количества людей. К тому же Мартон скоро и надолго замкнулся и весь обратный путь не проронил ни единой фразы, только прямо из горла бутылки крупными дозами заглатывал неразбавленный водой спирт. Майков протянул ему кружку с водой, однако тот отмашным ударом выбил ее из его мелко подрагивающей руки.

\* \* \*

От автора: Должен уведомить читателей, что в этом моем беллетристическом, а не документальном, повествовании обобщенно отображена правда жизни конца тридцатых годов двадцатого столетия. Поэтому среди моих героев не следует искать прообразы реальных людей даже в том случае, если чья-то фамилия и совпадает, например, фамилия начальника окружного НКВД - Мартон. Она реальна, хотя под ней я вывел обобщенный образ. Среди сталинско-большевистских убийц таких были много тысяч. А почему я использовал именно эту фамилию, а не фамилии Иванова, Петрова, Сидорова, какие носят миллионы людей? Вот для того, чтобы не нашлись читатели, которые бы в каждом Иванове, Петрове, Сидорове искали моего героя, я и назвал его редкой фамилией Мартон. И только. Повторяю, не следует под ней искать реальное лицо, как и в секретаре окружного комитета партии.

У сотен тысяч секретарей горкомов, райкомов, окружкомов, обкомов и центральных комитетов бывших союзных республик уже не существующего СССР руки в народной крови. За массовые убийства людей они получали ордена Ленина и другие награды, их повышали в чинах и привилегиях... Многие из них дожили до наших дней, и продолжают жить припеваючи, по-прежнему оставаясь в сфере власти. На их совести - расстрелы, убийства невинных людей, если не в тридцатые годы, то позже - в Новочеркасске, Алма-Ате, Фергане, Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Риге, Приднестровье... На их руках вся эта кровь.

Это они десятки, сотни тысяч инакомыслящих загоняли в лагеря, психбольницы, коверкая их жизнь, унижая их человеческое достоинство, выгоняя за границу.

Конечно, для рядовых исполнителей приговоров участие в убийствах многих и многих десятков миллионов ни в чем неповинных людей - и вина, и трагедия. Они проводили убийства по требованию руководителей большевистской партии, выполняя ее волю, содержащуюся в Постановлениях политбюро ЦК ВКП (б).

Чтобы развеять возможные сомнения в моей необъективности, сошлюсь на документ, опубликованные в 1992 году в газете “Труд” от 4 июля, в котором конкретно указаны сроки и способы освобождения общества от различных категорий кулаков и уголовников в конкретных республиках, краях и областях РСФСР. Учтены в этой инструкции от 31 июля 1937 года и материальные затраты государства на обеспечение всех этапов этой акции, вплоть до железнодорожных расходов. Расчет голов идет на десятки тысяч по разным областям. Тогда же (9 июля 1937 г.) были утверждены 8-мь трагически известных кровавых “троек”, по Западно-Сибирскому краю в состав “тройки” вошли - Миронов (председатель), Эйхе и Барков. На основании “Оперативного приказа” народного комиссара внутренних дел Союза ССР № 00447 от 30 июля 1937 года было приказано репрессировать по Западно-Сибирскому краю 17 тысяч человек, по Московской области - 35 тысяч.

Из воспоминаний старожилов-очевидцев известно, что в Оби производили затопления барж с живыми арестованными, и что в восемнадцати километрах ниже Колпашево стояла на якоре баржа, с которой людей с камнями на груди сталкивали в Обь....

Этот режим заслуживает проклятия и международного суда, более грандиозного, чем Нюрнбергский.

## **Заломная**

### **1. Тетка**

Я в те дни походил на затравленного волчонка. Из железнодорожного техникума меня отчислили по состоянию здоровья. Даже до экзаменов за первый курс не допустила комиссия, равная военной. По половодью едва добрался до дому, а тут - дым коромыслом: рев стоит, скандал, за топоры хватаются мама с теткой Мариной, раньше с нами никогда не жившей. Кидаются друг на дружку да крушат мебель и без того скудную. Изрубили стол, в кучу хлама обратили комод. Никому ничего не жалко. Обе расстроенные, простоволосые, растрепанные. Матерятся - хуже мужиков. Временами утихомятся ненадолго, а потом опять носятся по избе и двору с топорами.

Вторая моя тетка, младшая из сестер отца, а мне крестная, как я всю жизнь ее звал, - леля, еще до войны вышедшая замуж в Асине и ее муж погиб на фронте, беспрестанно плачет от другого горя. Пришло известие из асиновского лагеря о гибели там от голода дяди Петрухи, старшего брата отца, куда он попал еще зимой по ложному доносу. Но об этом в другом моем рассказе.

Кому горе, а мама с теткой Мариной, позабыв о нем, почему зря скандалят уже не первый день.

Я долго не мог понять, из-за чего идет сражение, к тому же отец, которого мы, дети, звали тятей, казалось был к нему безучастен: беспрестанно курил трубку, то и дело добавляя в нее махорку-самосад, забивался куда-нибудь подальше, и, посапывая, отмалчивался. Время от времени, устав ругаться с теткой, мама подлетала к отцу:

— А ты, идол безучастный, долго тут на предамбарчике будешь отсиживаться? Нас без избы оставляет твоя родничка, а твое дело - сторона? А я здесь одна с ребятишками, где зиму-лето куковать буду? Али хочешь нас по миру пустить? Али не твоя вся эта ребятня? Ну, че ты молчишь? Че вымалчиваешь? Али тут твоей доли нет? в избе-то?

Изба. Она представляла собою типичную хижину карагасов-чулымцев, описанную шведским врачом И.П.Фальком, побывавшем на Чулыме в 1769 году. Подобие ей представляло и наше жилище, почти куб размером четыре на четыре с половиной метра снаружи, это по измерениям, сделанным студентами Томского госуниверситета и пединститута в 1989 г. во время своей экспедиции в Первомайский район. Эта “изба” сохранилась и до настоящего времени почти в первоизданном виде, только вместо драницы покрыта теперь железом, на центральной улице села. О ее внутреннем устройстве расскажу в своем месте.

А пока идет за нее сражение.

– Вам корову и шубу оставляю, - прокуренным и полумужским голосом обещает тетка, сидя на крыльце.

– Шубу?! - взрывается мама и опять в ее руках топор, опять она налетает на тетку Марину. - Я пятерых ребятишек в шубу твою заверну зимой? Вот раскрою твою вонючую башку топором!

Тетка, как сидела, так и осталась сидеть, не дрогнув, только огрызается:

– Не вонючей твоей!

– Ах ты, змея подколотная! - закатывается мама в крике. - Она курит до того, что изо рта воню прет, ажно на весь Почтовский переулок, а у меня голова от чего вонючая? Отчего? Зубы-то у тебя от табаку все почернели!

Мама, чуть не спихнув с крыльца тетку Марину, вихрем проносится в избу. Оттуда во двор летит стенной шкаф, следом выскакивает мама и начинает кромсать топором и его.

Наконец, до меня доходит, что тетка Марина приехала продавать избу на том основании, что наша бабушка Екатерина Васильевна, которую она еще прошлым летом забрала к себе в Заломную, умерла зимою 1943 года, а теперь и дяди Петрухи не стало. Значит, долю родового дома Барсагаевых она должна получить по праву наследства, А сделать это можно, только продав его.

Против этого решительно восстала одна лишь мать. Отец же, истерзанный туберкулезом легких, казалось, продолжал оставаться безучастным ко всему: бурному скандалу, перспективе остаться вообще без крова.

Эту избу, самую маленькую во всем Пышкино-Троицком, в чистоте три с половиной на четыре метра, в которой почти четвертую часть занимала глинобитная русская печь, а пятую - деревянная кровать, еще в конце 19 века срубил дед Николай, переселившийся сюда из Бурбинских юрт, где родился мой отец и дядя Петруха. Но дед умер рано, в 1911 году, когда старшему из его детей - дяде Петрухе, было лет шестнадцать-семнадцать, а тяте - пятнадцать. Их сестры - Марина и Ксения родились уже в самом начале 20 века. Все они жили в этой хижине со своей матерью Екатериной Васильевной. Имели небольшое хозяйство, оставленное дедом: пару лошадей, корову и свинью. Его вел в основном дядя Петруха, холостой и смирный.

Отец не любил усидчивости. Он то нанимался в извоз к подгорным татарам, то ходил с раннего отрочества на лодках рабочим с каким-то инженером-путейцем с экспедицией по Чулыму, замеряя глубины и скорости течения для составления лоции, потом он этого

инженера часто вспоминал, называя его с уважением профессором, то вербовался на Обь-Енисейский канал...

После 1917 года отец остался все таким же непоседой, хотя теперь уже не по своей воле. В середине двадцатых годов он женился, появились дети. Поэтому он решил отделиться от бабушки и других ее детей, построил новый дом - настоящую пятистенную избу, подвел ее под крышу, настлал полы и потолок, вставил оконные рамы, но отделать не успел. В 1930 году в Пышкине-Троице начали создавать колхоз. Отец не захотел в него вступать, как и многие карагасы-чулымцы. Глав зажиточных семей арестовали и расстреляли, в том числе и двоих наших однофамильцев и многих единоплеменников. У моего отца отобрали две десятины земли, новый дом и коня, недавно приобретенного. Так как наша семья в Пышкине-Троице была вначале самой бедной, это разграбление сделало ее еще беднее, оставив нас без крова и пропитания. Отняли и все домашнее имущество, вплоть до самовара.

С этого времени и все последующие тридцатые годы проводилось преследование карагасов в массовых масштабах, поэтому многие из них начали переселяться из Пышкино-Троицкого и окрестных сел кто на Кеть, кто в Томск и на Томь и верховья Яи, а то и еще дальше - за Обь, на север Новосибирской области. Это был третий массовый исход карагасов-чулымцев из родных мест. Отец с семьей тоже подался в Томск. Здесь мы жили на частных квартирах, отец работал грузчиком на пристани. Но и тут их захлестнули сталинско-большевистские репрессии. Арестованных, в большинстве своем, расстреливали. Отца тоже арестовали и поместили в Томасинлаг. Мама была с нами, а в Томске родилась еще одна моя сестра - Римма, все мы вернулись в Пышкино-Троицкое, в хижину бабушки.

В 1937 году, когда мне было уже 10 лет, мы с мамой ходили навещать тятю. Он работал на строительстве железнодорожного депо и развороточного треугольника за ним. Эковский барак стоял напротив уже возведенного депо, на противоположной стороне железнодорожной линии.

Здесь я неделями жил с отцом в этом бараке. А в 1939 году он охранял капустное поле на подсобном хозяйстве Томасинлага, что находился за Феоктистовкой.

Лишь в войну отец почти окончательно перебрался в семью, в Пышкино-Троицу. Здесь он прибил к промартели, возникшей из распавшегося колхоза. Жил на зачулымских лугах, близ зоны Томасинлага, работал на сенокосе, а зимою с рыбартелью находился на промысле напротив и вблизи Пышкино-Троицы. Но НКВД не забыло, что он еще не отбыл ссылку, которая по кодексу называлась "пятью годами поражения в правах", и отца выслали в послок Заломную Зырянского района.

На его "счастье" там жила его родная сестра Марина с дочерью, моей двоюродной сестрой. Зная, зачем его сестра направилась в Пышкино-Троицу, тетя приехала сюда вместе с нею. А дико драматичная схватка мамы с теткой Мариной закончилась торжествующей победой последней - наша семья оказалась второй раз выброшенной на улицу.

## **2. "Стройка" на горной круче за кладбищем**

Кладбище в Пышкино-Троице тогда было расположено в живописной березовой роще близ церкви, теперь отживающей свой срок, поруганной по воле районных начальственных особ - первых секретарей райкома партии. Этой роще-кладбищу в другой книге посвящена

отдельная статья. А тогда там тесно возвышались еще не осевшие могильные холмики, кресты и оградки.

Место для хижины выбрали в нескольких десятках метров восточнее кладбища. Там еще были бугорки и ложбинки, заросшие хилыми, искалеченными человеком и скотиной уже немолодыми березками, в их ветвях и под ними певчие пичужки вили и устраивали свои гнезда, клали яички, выводили и выращивали птенцов. Но мы выбрали голую полянку, достаточную для небольшой, примитивной хижины и огорода соток в восемь-десять. Целину мы тут же вскопали лопатами и засадили картошкой, вернее “глазками” от съеденных чуть ли не по осени клубней, засеяли семенами овощей грядки, выкопали погреб. Потом тятя с мамой на почти отвесную кручу вытащили пять не очень толстых столбов, они в изобилии в половодье были нанесены на пойму озера Беляй, когда-то бывшего древним руслом Чулыма. Но еще и теперь из него вытекает и впадает в него круглый год не засыхающий ручей.

Отец начал пазить столбы и вкапывать их в землю, а мы с мамой и сестрой Тоней каждый день по несколько раз ходили за Куендат. теперь там территория и постройка бывшего райпищекомбината. А тогда вплотную к речушке подходил молодой сосновый бор, и мы ручной пилой спиливали нетолстые сосны, обрубали сучья и разделявали на бревна, указанной отцом длины. Попилив полдня, эти бревна на своих плечах перетаскивали на место стройки. И так опять и опять, а тятя шкурил их, делал пазы, как для нормального дома. Затем мы стали ходить за мхом на болотце, что находилось примерно на месте современного автовокзала и бывшего пожарного депо. Тятя в это время начал вставлять бревна в пазы.

К осени хижина была готова, но была без пола. Он еще долго оставался земляным, потому что тятя опять уехал в Заломную отбывать остальной срок поражения в правах.

История этого “жилья” долгая и трагичная.

Летом по земляному полу у нас иногда ползали ужи и змеи, прыгали лягушки. Однажды летом мы с другом детства Вовкой, моим ровесником, за Беляем свалили осины, разделали их на бревна и сплавили к нашей “горе”, вынесли по тропке наверх, ошкурили, раскололи пополам, немного протесали, выкопали подпол и настелили над ним пол.

Ни отец, ни я, ни сестра Тоня часто не жили дома, младшая сестренка Римма была еще маленькой, а Люся, родившаяся в Пышкине, - еще совсем маленькой.

К тому времени на задах нашей улицы началась застройка Набережной улицы - теперь Кольцовой.

Прямо позади нашего, как уже сказано, вручную выкопанного огорода, построили двухквартирный жилой дом, один из самых первых двухквартирников в Пышкино-Троице. В той половине этого дома, что была как раз напротив нашей усадьбы, стал жить ответственный работник райисполкома - Рычков Семен Иванович. Кстати, женой у него была дочь одного из бывших прокуроров - Курочкина. Рычкову показалось, что у него недостаточно огорода, вспаханного на казенных лошадях, и он, несмотря на горькие слезы нашей мамы, отнял у нее четыре сотки и не подавился. Этот очередной наглый грабеж среди белого дня на глазах всего народа наша семья не забывала никогда.

В этом доме в 1947 году умер от туберкулеза наш тятя, я в то время служил в армии и находился в Новосибирске, но не был отпущен на похороны.

Однако тут я несколько забежал вперед и, все равно, доведу историю нашей хижины до конца.

Пока я почти четыре года служил в армии, сестра Римма повзрослела, вышла замуж, и они с мужем Ильей Барановым из соседней деревни перевезли баню из довольно толстых бревен и поставили на место нашей обветшалой хижины, пристроили сенцы.

Но когда в 1951 году я вернулся из армии и на следующий год женился, то все равно нам, молодоженам негде было жить и даже провести свадьбу. С молодой женой мы сразу сняли частную квартиру в одну небольшую комнату с отдельным от хозяев входом на том же родном Почтовом переулке. Свадьба тоже была в доме у родственников по маме - дяди Афони Дорохова с его женой тетей Тоней (в девичестве Субботиной).

Однако, после частных переездов моей семьи с места на место, из района в район (часто не по моей воле, а как говорили, по требованию партии) и даже за пределы области, по возвращении в Пышкино-Троицу, нам уже с детьми доводилось некоторое время ютиться в этой "избе". Хотя я работал ответсекретарем в редакции районной газете, мне так ни разу и не дали казенной, вернее, коммунальной квартиры, аж до 1961 года и то дали, когда я работал в машинно-дорожном отряде (МДО № 136) на улице Новой, а затем - в особняке на улице Карла Маркса.

Наша мама умерла в 1976 году в возрасте 74 лет, а ее "изба" досталась нашему младшему брату Александру.

Но тут место, где стояла наша хижина шибко приглянулась районному начальству, и она была снесена, а на нашем месте перестроили большой двухэтажный дом, брату дали комнату в общежитии на улице Карла Маркса, за райотделом милиции. А когда, в 1992 году Александр умер, его законную комнату изъяли, хотя были законные наследники. Так совершился очередной грабеж нашей семьи...

А с теткой Мариной наша связь не завершилась окончательно.

### **3. Путь в Заломную**

Как сейчас помню начало января 1945 года. Солнце лишь скудно проглядывало сквозь морозный туман, а сверху и снизу, и по бокам отчетливо было видно еще четыре солнечных диска, соединенных между собою радужным обручем. Кожу лица невыносимо ломило, ноги подкашивались от усталости, но два маленьких человечка упрямо шагали по дороге, которая тянулась то глубоким желобом по лесу, то выползала на поле или луг, где местами была даже выше снежного покрова. Казалось, что ей не будет конца, этой сто верстой дороге, и не хватит сил дойти до цели, а это была та самая Заломная, где жила тетка Марина и ждал нас отец. А путниками были мы - я и моя сестра Тоня. Мне доходил восемнадцатый год, а сестра была на два гола младше меня.

Я выглядел не по возрасту дробненьким мальчиком-подростком, и мы с сестрой уже третьи сутки почти ничего не ели. Из Пышкино-Троицы мы вышли еще позавчера поутру, первую ночь ночевали в Асино у моей Лели, вечером подкормились и утром и на второй день остановились на ночлег в Больше -Дорохове у родителей мамы, бабушки Алены и дедушки Ивана. И здесь было несыто, мало-мало поужинали да позавтракали, а теперь вот налегке, без каких-либо припасов двигались дальше.

В Зырянку вошли поздним вечером, мало кто уже не спал, и никто не пускал ночевать. Наконец, почти в полночь одни сердобольные хозяева открыли нам дверь. В квартире было так тепло натоплено, что показалось - из ада попали прямо в рай!

Хозяева жили вдвоем: муж и жена - сильно пожилые. Не зажигая огня и ни о чем нас не расспрашивая, женщина постелила на пол тулуп и уложила нас спать, сунув в руки по большому ломтю хлеба.

Как я уже заметил, несмотря на свои лета, я выглядел четырнадцатилетним мальчишкой-подростком, настолько был низкоросл и худ. Кончался год, как моих ровесников призвали в армию, а меня всякий раз отпускали из военкомата как негодного к строевой службе. К тому же у меня был порок сердца, и я уже третий год болел туберкулезом легких. И я уже начал смиряться со своей судьбой.

Фронт. Я был бы там давно, если бы... Зимой 1942 года мы с Вовкой и вторым нашим другом Петькой разработали детальный план побега на фронт. Решено было тронуться в путь весной, как только начнется ледоход на Чулыме. В это время редкий смельчак мог рискнуть перебраться через большую бушующую реку. А мы с Вовкой уже не первый год десятки раз переправлялись через нее на юрком обласке, умело маневрируя между мчащимися льдинами, часто вытаскивая свое утлое суденышко на большие "поля" и перетаскивая его волоком до очередного разводья. План наш и состоял в том, что, пока ледоход кончится, мы будем далеко от родных мест.

Но весной меня подкосила болезнь, и когда начался ледоход, я метался на кровати, крича от дикой боли под обеими лопатками. Отнялись ноги.

У Вовки тоже дома был "лазарет", при смерти был отец, свалилась и мать. Петька остался без соратников, и мы его отговорили бежать на фронт в одиночку. Впрочем, через пару лет его призвали в армию, и теперь он учился в офицерском училище. Вовка перешел на второй курс железнодорожного техникума, откуда на военную службу не брали даже в самое тяжелое время войны. А мне в сорок втором году в сентябре пришлось во второй раз идти в седьмой класс, потому что весной из-за болезни не сдавал за него экзамены.

Осенью сорок четвертого я снова слег, до нового года провалялся в постели и вот лежу на полу незнакомой избы и ем чужой хлеб. Не ем, а сосу его, наслаждаясь невероятным вкусом ржаного ломтя. Постепенно сыроватая липкая масса размягчается, потом делается жидкой, и я по капельке ее проглатываю. А до этого хлеба я не пробовал несколько недель.

Хлебные карточки в Пышкино-Троице не гарантировали, что мизерную пайку в двести граммов можно было получать ежедневно. В летний ли зной, в лютый ли мороз в очереди за хлебом надо было вставать с вечера, а стояла вся деревня. Потом прстоишь всю ночь и хорошо, если еще полдня, очередь дойдет, а продавец Яша Будько объявляет:

– Хлеба больше нет!

И так бывало не один день, не одни сутки. Если все-таки повезет и возьмешь хлеб за все предыдущие сутки и на неделю вперед, то съешь его за один день. И так - всю войну. Зато районное начальство - чиновники райкома партии и райисполкома, в этом же магазине пользовались услугами дяди Яши регулярно каждый день, минуя всю длинную очередь. К тому же они получали не один хлеб, но и масло, и мясо, и рыбу, и крупы, и сахар, на что не имело карточек все население райцентра.

Чиновники и их жены уносили из магазина продукты полными сумками, набитыми до отказа, а население голодало. К тому же население сдавало на фронт полушубки, меховые шапки, валенки, шерстяные носки и рукавицы, но до фронта они не доходили - разворовывали все в Пышкине-Троице районные чиновники. Нет ни одного письменного свидетельства, что что-нибудь из этих теплых вещей получили солдаты на фронте. А вот эти вещи сдавшие узнавали на чиновниках райцентра. Редкие из них добровольно уходили на фронт, а в 99% они отсиживались в тылу по брони. Слово-то какое - "броня", она их защищала от смерти посильнее, чем броня танков на войне. Народу была кровавая война, а районным чиновникам - партийным и советским, - мать родная. В тылу они спасали свои поганые, подлые шкуры...

Идем мы к тетке Марине, а там и отец. Он уже несколько лет болен туберкулезом легких и написал, чтобы мы пришли, а то, как бы весной не поздно было. И отец пожелал увидеться хоть с нами, старшими детьми.

В военные зимы истощенные, ослабевшие люди нередко замерзали на дорогах. Мы не без боязни такой же участи начали свой путь. Но отец звал. Делали мы облегчение и маме, с которой остались еще трое младших детей и еды теперь надо поменьше.

Утром, хотя мы проснулись рано, но лежали, ожидая рассвета, чтобы не сбиться с пути и опасаясь зверья. Когда встали, хозяйка усадила нас за стол, на котором уже струилась вкусным парком жареная картошка и стояло два стакана, до краев наполненных молоком, и лежало по небольшому кусочку хлеба. Мы жадно ели, а женщина печально глядела на нас. Из другой комнаты вышел хозяин. Он сел рядом с нею и лицо его мне запомнилось навсегда. Ему было примерно за пятьдесят. Круглое лицо, но сухое, оно было все вдоль и поперек, словно волосяное сито, изрезанно морщинами. Добрые карие глаза с трудом можно было разглядеть под водянистыми тяжелыми веками.

Оба смотрели на нас, но видели над нашими головами два небольших красочных портрета сыновей-моряков. Из глаз стариков скатывались по морщинистым щекам крупные слезы. Мы поняли, что их сыновья уже никогда не вернуться домой, в отчий дом.

С собою гам, голодным путникам, им дать уже было нечего. И за вчерашние ломти хлеба, и за сытный завтрак я остался им благодарен на всю свою жизнь. Запомнилась и фамилия стариков - Лежнины.

День выхода из Зырянки был особенно холодным. Из-за седого и жгучего морозного тумана солнца почти не было видно. Веки и щеки наши моментально обледенели, но мы шли и шли, остановка означала гибель, смерть.

Днем туман рассеялся, и мороз слегка смягчился, а под вечер подул ветер, и стало совсем "тепло". К тому же ужин и завтрак прибавили нам сил. Вечером остановились на последний ночлег в Чердатах, после которых оставалось пройти всего-навсего не больше полудня.

Здесь хозяйка пустила сразу, однако, на ужин предложила лишь колодезной воды. У нее самой не было даже картошки.

На следующее утро, не пройдя километра, сестра села на дорогу и прошептала:

— Больше не могу.

Я достал из кармана брюк кусок теплого от моего тела хлеба и протянул ей:

- Ешь, но встань и пойдем.
- Ты ночью не весь свой съел? - удивилась Тоня.

Я промолчал.

- Ведь сам не дойдешь, - слабо сопротивлялась сестра, давась слюной.
- Ешь, говорю! - рассердился я.

Она встала и на ходу торопливо съела половину хлеба, а оставшийся протянула мне. В полдень мы с пригорка увидели домики Заломной.

#### 4. Заломная

Отец. Тятя. От радости он не может выговорить ни одного слова. Слезы, сливаясь в одну прозрачную струйку, текут по его лицу, черно-рыжеватой бороде и капаят на помятую старую рубашку. Руки его, сухие и горячие, заскорузлые от многолетней работы, трясутся мелкой-мелкой дрожью.

Сухой и горячий комок жалости и предчувствие непоправимой беды, застревают у меня в горле, и я отворачиваюсь. Правда, к счастью, он еще прожил несколько лет.

Я бы сейчас же вскочил на улицу, встал на лыжи и пошел бы развеяться под луговой ветерок, но почувствовал, как слаб, и понял, что сейчас не смогу сделать больше ни одного шага после ста верстного перехода, только что законченного.

Только через трое суток весь мой организм словно воспрянул после длительной спячки, налился силой. Едва дождавшись рассвета, я встал на лыжи и, постепенно переходя с шага на бег, выскочил из поселка на луг. И хотя стоял январь, мне показалось, будто наступило жаркое лето. Нет, не новое, а то, второе лето войны.

Сопровождая больного отца в ссылку, я впервые приехал в Заломную на пароходе. А через десяток дней здесь уже был Вовка. Для остальных моих родных это было, конечно, большой неожиданностью, да и лишний нахлебник в те годы был не в особую радость.

Но мы с Вовкой нашли выход - стали пасти поселковое стадо коров. На двоих нам выдали восемьсот граммовую хлебную карточку, а хозяева коров ежедневно платили молоком и картофелем, договорились и о денежной плате. Так что тетюшка Марина даже обрадовалась.

Работа оказалась не тяжелой. Лугов было достаточно рядом с поселком, и коровы, будто надувные лодки, разбухали от сочной травы. Мы с Вовкой собирали ягоды, удили рыбу, купались в Чулыме и загорали. По вечерам, кроме молока и картошки, домой мы приносили крупных щук, добытых на жерлицы, ельцов, окуней и массу ершей.

Где-то шла кровопролитная война, а вокруг стояло чудесное лето. Цвели луговые травы, в воздухе разливался неопиcуемый аромат, оглушительно стрекотали кузнечики, летали огромные стрекозы, и с утра начинал плавиться золотой диск солнца, а в небе, в

недосягаемой его глубине, висели причудливые белоснежные облака, похожие то на двугорбого верблюда, то на гигантского старика.

Только после работы, когда родные заставляли меня читать в газете сводки Совинформбюро и письма от теткингого мужа, мы с Вовкой, словно из рая, попадали в кромешный ад...

Лыжи легко скользили по отмякшему в последние дни снегу, и скоро я вышел на берег Чулыма, к тому месту, где под яром когда-то купал свою могучую крону огромный тополь. Корни его в то лето подмыло водой, и он обрушился в реку, однако его не унесло течением. Ни один его глянцевый листок не завял и не опал, остался на сучьях, что оказались над водой.

Чулым. Плавно ты катишь свои воды более тысячи километров, извиваясь на водоразделе двух великих сибирских рек - Оби и Енисея. За свою жизнь мне довелось побывать и в верховьях, где ты, Чулым, протекаешь всего в двенадцати километрах от Енисея и где твоя вода чиста и прозрачна, как слеза, и на устье, где ты впадаешь в Обь и где твоя вода мутна и желта, а под лучами солнца кажется белой, как молоко, и на Среднем Чулыме, где я родился и считал тебя своей пожизненной колыбелью. Из своей Пышкино-Троицы плавал я на пароходе вверх, где ты выписываешь такие колена, на которых двум пароходам, идущим навстречу, можно оказаться нос к носу, разделенными только узким перешейком в несколько десятков метров шириной. Много с той поры утекло твоей воды вместе с обской в Северный Ледовитый океан, но я, как сейчас, помню это лето.

Недолго мы с Вовкой пасли коров. По своей натуре мы были не пастухами, а путешественниками. Не прошло и половины месяца, как мы разработали план самостоятельной экспедиции из Заломной в Пышкино-Троицу, и немедленно приступили к его осуществлению.

Под своим любимым тополем мы затопили обласок. Его выловил Вовка в Чулыме, когда мы однажды купались, и его течением несло самосплавом вниз без хозяина. Не успел я и глазом моргнуть, как мой друг уже забрался в него. Вовка очень легко плавал вразмашку, при этом его спина была над водой до середины лопаток. В обласке оказалось даже рулевое двухлопастное весло, и через пару минут мы стали судовладельцами. Для таинственности мы спрятали обласок под тополем, теперь же подозреваю, что Вовка сразу задумал уже тогда возвращаться домой не на пароходе, раз у нас теперь свой обласок.

Без труда мы добыли большое количество соли - кучи ее, никем не охраняемые, высились на пристанском берегу. Половину пойманной рыбы мы начали засаливать в большой, почти ведерной, жестяной банке, которую хранили в болотце, между кочек, недалеко от берега Чулыма.

Когда кончилась наша хлебная карточка, мы вполне подготовились к отплытию в дальний путь, сдали коров хозяевам и заявили тетке и отцу о своем решении ехать домой. Нас не удерживали. Снабдили полутора кирпичами хлеба, добавили к этому зеленых огурцов и по кусочку сахара, наполнили чайник молоком и проводили на пассажирскую пристань, которая расположена в пяти километрах от Заломной. Как раз вверх прошел пароход, и отец с теткой думали, что нам его придется ждать недолго, а на нем вниз по течению ехать всего одни сутки.

В провожатые к нам приставили двоюродную сестру - теткинину дочку с ее старшей подружкой. Но они прошли с нами недолго. Мы вручили им весь запас сахара и отправили назад, едва удалившись в сторону пристани с полкилометра.

Как только они скрылись за первыми домиками поселка, мы юркнули в болотце, прихватили там свою рыбу и ускоренным маршем устремились к заветному тополю.

## 5. Вниз по Чулыму

Дул сильный прохладный ветер. На реке играли волны, большие, темные, белогривые от пены. На берегу не было ни одного рыболова или купальщика. Мы проворно разделись и, не раздумывая, погрузились в воду. Она не по погоде оказалась теплой. За десять дней в наш облас намыло столько вязкого ила, что он не всплыл, когда мы извлекли его из-под коряжистого дерева. Пригоршнями мы вычерпали из своего судна липкую, зеленоват-черную массу, промыли облас водой. Прошло часа полтора, пока мы закончили эту работу. И вот, прощай Заломная! Правда, для меня пока не насовсем. Подгоняемая ветром и течением, быстрым и могучим, наша крошечная, двухместная лодка быстро помчалась вниз по Чулыму, и мы помогали ей веслами. Мы все-таки опасались, что наш недозволенный побег обнаружат, боялись погони. Такова детская логика! И облегченно вздохнули, проскочив мимо пассажирской пристани и скрывшись из виду деревни за поворотом. Мне впоследствии приходилось не раз ездить на пароходах по Оби, Томи, Кети, но таких красивых берегов я на них не видел, как здесь, на Чулыме.

Даже в хмурый день берега Чулыма поражают разнообразием красок, неповторимостью пейзажей. А в солнечный день! После полудня хорошо распогодилось: ярко засияло солнце, утих ветер.

Вот только что проплывали под высоким яром и на нем нежно шелестели высокие и густые луговые травы, источая тысячи ароматных запахов, и надо всем этим было лишь бездонное голубовато-бесцветное небо и ласковое солнышко. И душу охватило такое стойкое ощущение юности и благоговения, что, кажется, весь ты слит с природой и больше ничего и никого на свете не существует, вокруг - только простор да серебряное журчание струй воды, разрезаемых обласом.

Но вот впереди показалась, надвинулась плавно мягкая зелень тальниковых зарослей, плотной толпой вышедших погреть свои подошвы на горячем, чистом-чистом песке, почти на километр, словно белый фартук, протянувшимся сверху вниз по течению и купая свои края в прохладной влаге. И крупные речные чайки проносятся невысоко с громкими криками, высматривая зазевавшуюся и сплывшую на самую поверхность воды рыбешку.

А дальше снова начинается высокий яр, но здесь над самым обрывом свои пышные яркие кроны черемухи, усыпанные такими громадными кистями поспевших ягод, что из-за них почти не видно листьев. Ягоды черные, но этого сразу не заметишь, потому что каждая из них отражает по солнцу, а вместе этих миниатюрных светил - миллионы, а может быть, и больше. И весь отвесный яр испещрен плотными строчками стрижиных нор, а вот и они сами, стремительные, похожие на деревенских ласточек, густой стаей проносятся в разных направлениях, на лету питаясь комарами и другими некрупными летучими насекомыми.

Затем снова небольшой кусок луга, и на яру появляется хоровод белоствольных березок-сестричек, по три-четыре из одного корня растущих. Березовые рощи, с первого

взгляда, будто однообразные, на самом деле всякий раз имеют свое неповторимое лицо. То это веселая гурьба молодых нежнокожих девически красивых деревьев, то густая поросль частокольника, то стройная роща зрелых красавиц, высоко в небо вознесших свои ветвистые, кудрявые кроны, то вереница протянувшихся в один или два ряда цепочкой грациозно склонивших свои головы сестричек-близнецов и погодок.

Словом, всего разнообразия и великолепия невозможно перечислить.

Нередко над обрывом чинно высятся огромные тополя, и на самом краю, почти свешивая с яра тонкие черенки, - малиновые заросли с вкусно-алыми ягодами. Ярко цветет шиповник, зазывно привлекает своими карими глазами ягода-смородина, крупная, как виноград.

Мимо медленно проходит берег, поросший редким ярко-красным боярышником с длинными шипами. Сколько раз вонзались эти шипы в голые пятки наших с Вовкой босых ног!

С другой же стороны вечная труженица-река подмыла отеснивший пойму и подступивший вплотную материковый берег. Чтобы увидеть край обрыва, здесь приходится запрокидывать назад голову. Запрокинешь, и ахнешь в изумлении - корабельный бор вознесся там! Колоннады ровных, гладких, почти на две трети голых стволов отливают медью под солнечными лучами и на их поверхности хрустально сверкают крупнющие смоляные слезинки.

Сразу за бором уже виднеются крайние избы незнакомой деревни. Причудымские деревни - украшение его берегов столь же неприметное, как и только что описанные нерукотворные живые пейзажи природы. Они стоят всегда на высоком материковом берегу, близ устьев крупных и мелких притоков Чулыма, или на нем самом, или над его старицей.

Над рекой расстелил свое темное покрывало поздний летний вечер. Однако мы плыли, пока совсем не стемнело. Деревни поблизости не виднелись, даже домиков бакенщиков не было на пустынных берегах.

Выгрузились и вытащили на берег обласок, опрокинули его вверх дном, чтобы вылить воду. Несмотря на то, что наше судно более недели находился в реке, оно начало протекать тот же час, как только мы погрузили в него наши вещи и оттолкнулись от берега еще в Заломной. Всю дорогу мы с Вовкой по очереди то работали веслами, то вычерпывали за борт воду, набирающуюся в обласок непрерывно.

Разжечь костер при нашей сноровке, было делом минут. Весь песок был усыпан кучами всевозможного сухого древесного хлама и также - бересты. Хворост быстро, почти мгновенно вспыхнул и устремил ввысь языки яркого пламени. Вокруг немедленно сгустилась непроглядная тьма. В огонь мелким дождичком посыпались мириады каких-то крылатых насекомых. Их было столько, что в воздухе даже слушался тихий шелест.

Скоро закипела в котелке вода. Мы рассудили, что надо сперва сварить голову самой крупной щуки. Я взял ее, и мои пальцы погрузились в липкую рыбную мякоть. Мясо на вид было подозрительно зеленоватым. Наделенный природой нечеловеческим обонянием, Вовка дернул своим большим носом, про который он сам говорил, что тот на семерых рос, но одному достался, и сказал, а он всегда и про все знал:

– На Байкале есть рыба под названием Омуль. Там ее едят только с душком и считают деликатесом. Будем думать, что мы лакомимся омулем.

Мы предполагали, что будем ехать не менее недели, а продуктов у нас было очень мало.

Ночевали мы в обласке, укрывшись стареньким ватным одеялом, что дала мне тетка Марина.

## **6. Злоключения**

Проснулись мы рано, замерзнув до дрожи. Даже не стали готовить завтрак. Ели в пути соленых ельцов с хлебом, потом закусили огурцом, разделенным пополам. И к полудню доплыли до Зырянки. Пароход нас так и не догнал еще.

Нам надоело грести, придерживая лодку на фарватере, мы только время от времени, вычерпывали и выливали за борт воду. Пока один из нас занимался этим делом, другой, развалившись в обласке, блаженствовал от праздности и тепла. Тут, на воде и при слабом ветерке не досаждали ни комары, ни мошка, от которых не было отбою на песке. С безоблачного неба солнце беспрестанно брызгало на землю своими жаркими лучами.

Мы были уже напротив центра Зырянки, когда вдруг заметили это белоснежное и совсем маленькое облачко. Сначала оно казалось крохотным в недостижимой высоте клочком ваты, однако, оно на глазах разрасталось, пока не превратилось в настоящую тучу, но не было похоже на грозовую. И тут, мы даже не успели понять, в чем дело, как плотные сплошные потоки дождя обрушились на нас, и через несколько секунд наш обласок с краями наполнился водой.

Нигде на Чулыме нет такого широкого места, как напротив Зырянки. А мы были на самой середине реки. Сообразив, что через минуту-две наша дырявая посудина пойдет на дно, мы лихорадочно начали грести веслами и повернули на правую сторону, показавшуюся ближе. Но тут же, к своему ужасу, увидели, что он высок и отвесен, и с него течет уже не вода, а жидкая глина, сель и даже негде причалить, а под нами была самая глубь. Мы снова направили лодку на середину в надежде приблизиться к песку, где всегда мелководье. И, о счастье! Не проплыли мы и несколько метров, как под дном застрекотала галька. Это был скрытый под водой песчаный островок. Потому мы, подрастерявшись, его и не заметили. Тут мы выпрыгнули из своего судна и подальше затащили его на отмель.

В критический момент мы даже не заметили, что во время ливня, не переставая, светило солнце, а скоро потоки воды, превратившись в обычные дождевые струи, но и они стали хлестать ленивее и вдруг, так же внезапно, как и начался, дождь прекратился.

Мы приступили к работе: освобождению обласка от накопившейся в нем воды. Мокрая одежда плотно облегла наши тела и стесняла движения. Мы замерзли, продрогли и дрожали.

Вылив воду настолько, чтоб угловое суденышко держало нас, мы столкнули его со счастливой отмели подводного острова и направили к правому берегу, на котором виднелась избушка бакенщика.

Приткнувшись к казенным и хозяйственным лодкам, мы привязали свой обласок и, забыв прихватить вещи и сумку с продуктами, устремились в дом.

Женщина-бакенщица встретила наше неожиданное вторжение холодно, если не враждебно. Но выгнать сразу не решилась, в таком жалком виде мы были. Вначале она решительно нам отказала в просушке и ночлеге, приняв за беглецов из ремесленного училища или ФЗО. Ища укрытия от дождя, вновь заморосившего, в дом вошли двое мужчин. Один из них назвался обстановочным старшиной Масловым (все фамилии в моей невыдуманной истории, как и факты - подлинные). Старшина проявил к нам сочувствие и пригласил заехать к нему, рассказав, что живет на километр ниже по реке.

Когда и этот дождь окончился, и выглянуло начавшее склоняться к закату солнце, мы с Вовкой покинули дом негостеприимной бакенщицы и вернулись к своему "кораблю". Он вновь был до краев наполнен водой. В ней плавали наши насквозь промокшие вещи: дощатый чемоданчик и мешок с верхней одеждой, одеялом и продуктами. Мы извлекли их и вытащили на берег, начали разводить костер, чтобы хоть немного просушить одежду. Сухими спичками нас выручил Маслов. И нам удалось поджечь бересту и хворост, и они разгорелись сразу. Скоро на берегу пылал огромный костер и мы, приплясывая вокруг него, голые, как пляжные завсегдатаи на курорте, начали выжимать и развешивать на сучья и валежины, оказавшиеся совсем рядом, все свои пожитки. Хлеб размок и развалился на части, мы его разложили на бревне, что оказалось за нашими спинами и близко от огня. Мы совсем забылись и не обращали внимания на него, не ожидая никакой опасности. Вдруг за нашими спинами послышалось чье-то громкое дыхание, кто-то зачавкал. Мы с Вовкой враз обернулись на эти звуки. Огромный бык, причмокивая языком, спокойно жевал наш хлеб. Осталась последняя небольшая горбушка. Схватившись за хворостины, мы набросились на рогатого разбойника, а тот, как ни в чем, ни бывало, медленно повернулся от нее и не спеша, направился прочь, шибко довольный вкусной и сытной закуской.

Только после этого мы почувствовали, как голодны. Чтобы еще чего-нибудь не случилось, тут же доели оставшийся хлеб.

От нашей одежды уже перестал валить пар. Натянув на себя подсохшие брюки и рубашки, мы вылили из обласка воду и отчалили от злополучного берега и места.

Мимо домика гостеприимного старшины Маслова мы проплыли еще засветло, но не остановились на ночлег, спеша поскорее добраться до дома.

На ночлег попросились у следующего бакенщика. Он оказался угрюмым чернобородым мужчиной и ночевать пустил сразу, однако, не в избушку, а поместил в небольшое бревенчатое строение, что стояла на самом обрыве. В нем было тепло, и мы моментально уснули, но вскоре очнулись. Мириады блох напали на нас, словно стотысячная стая волков. И мы больше уже не сомкнули глаз. Не знаю, как Вовка, а я пожалел, что не остановился у Маслова. Когда мы проплывали мимо, возле его двери густо дымил дымокур от комаров.

Поднимаясь утром, я чуть не свалился от сильного головокружения. Вокруг, будто все пошатнулось, почувствовал тошноту. Едва успели дойти до обласа, как меня вырвало. Грузился Вовка без моей помощи. А когда тронулись в путь, я даже не смог вычерпывать воду. Все пришлось делать одному Вовке, а меня, время от времени, снова и снова начинало рвать.

Постепенно в лучах солнца растворилась утренняя свежесть. Еще далеко было до полудня, а Вовку уже разморило, сказала бессонная ночь или он заленился. Отложив в сторону весло, он лишь изредка вычерпывал волю, а то все полулежал, развалиясь на корме.

Обласок, потеряв управление, описывая круги, пошел совсем медленно. Вовка выгребал на фарватер и снова продолжал празднично лежать на корме.

Меня уже начало раздражать, и я, наверняка, всерьез поссорился бы с другом, если бы не увидел первых домиков Асиновского сплавного рейда, от которого до родного села всего три-четыре километра, словом, рукой подать. Я взгляделся и увидел кладбищенскую рощу, что до сих пор украшает Пышкино-Троицу...

Пароход прошел мимо нашей пристани лишь через пять суток. Из-за серьезной поломки он простоял сверху, в Тегульдетском районе. Если бы не это, то и сейчас еще бы никто не знал, что мы сбежали на обласке.

Возможно, читатель обвинит меня за столь пространное отступление от темы моего незатейливого повествования, ничуть не выдуманного, но мне отродно вспоминать подробности моего первого самостоятельного путешествия. Ведь я повторил хотя бы небольшую часть пути по Чулыму, проделанного русскими и иностранными путешественниками конца 17 - 18 веков, русских первопоселенцев - казаков и стрельцов.

## 7. Туила

Вернувшись с лыжной прогулки в поселок, я вновь попал в мир, на который положила свой суровый отпечаток та суровая война. В поселке - разгороженные дворы и исхудалые оборванные ребятишки, тощие, одни ребра, лишь кое у кого сохранились собаки. На каждом общественном учреждении - конторе сплава, клубе, магазине, бараках и даже на конюшне плакаты со словами: - "Все для фронта! Все для победы!"

Проходя мимо дома начальника сплава Алексея Ивановича Каськова, я услышал, приглушенный бревенчатыми стенами безутешный плач, рыдания в несколько голосов, и жуткая, холодная по-зимнему тишина вокруг, на улице, над поселком, затерявшимся среди глухой тайги, пойменных чулымских лугов и глубоких снеговых сугробов.

Тишина у нас дома.

– Что у Каськовых? - спросил я с порога.

Тетка Марина повернулась ко мне, и из ее заплаканных глаз уже по высохшим дорожкам от слез снова побежали светлые струйки. Отозвалась чуть слышно, словно в доме был покойник:

– Извещение получили о смерти младшего брата.

Только после большой паузы она обратилась ко мне:

– Работать хочешь?

– Хочу! - не раздумывая, ответил я.

– Тогда пойдем в контору.

Я опять быстро оделся.

Каськов был на работе, но сразу было видно, что горе наложило на него свою безжалостную лапу. Обычно крепкий, подтянутый и моложавый мужчина, он сейчас выглядел так, будто перенес длительную изнурительную болезнь. Энергичное и волевое его лицо почернело, и живые серые глаза потускнели и глубоко запали. Срывающимся голосом начальника сказал мне:

- Будешь учеником бракера. Завтра за тобой зайдет Сергей Иванович Мочалов.
- Пошли! - потянула меня за рукав из конторы тетка.

Дорогой она опять плакала. И у меня сердце разрывалось на части. Наши войска стремительно отступали, и в тылу только и было разговоров, что в скором конце войны, однако, как и прежде, то одна, то другая семья оставались без кормильца-мужа, отца, сына или дочери, близкого родственника. Все смертельно устали терпеть невзгоды. Из задумчивости меня вывели слова тетки:

- Сергей Иванович уходит в лес рано, часов в пять.
- Ну и что ж, разбудишь меня, чтобы успел собраться к его приходу.
- Отец поднимет, конюшня недалеко от дома.

Да, тятя, хоть и был тяжело болен, почти смертельно, но работал ночным сторожем на конном дворе, там постоянно и жил. Теперь и я, наконец-то, пристану к настоящему делу. С продолжением учебы в городе ничего не вышло, в армию не брали из-за слабого здоровья. Проклятая болезнь сердца и легких спутали все мои планы и мечты. А теперь у меня вновь родилась надежда.

Всю ночь я почти не спал, хотя надеялся, что отец вовремя разбудит, но был чуток и при каждом шорохе за стенами дома открывал глаза, отгонял дремоту и напряженно прислушивался - не идет ли тятя. Так повторялось много раз, пока на улице не заскрипел снег. "Пора", - решил я и вскочил с постели, не ожидая, пока отец войдет в избу.

Но, видно, ему все-таки жалко было тревожить мой сон, и он оттягивал мой подъем до самого крайнего момента. Однако не успел тятя прикрыть за собой дверь, а я одеться, как явился мой новый учитель.

- Долго, долго спишь, помощник, - с притворной строгостью пенял он и поздоровался.
- Я готов, - заторопился я и начал надевать телогрейку.
- А позавтракал?
- Не успел.
- Так не годится. Сиди и завтракай.

Сергей Иванович сел на табурет.

Не прошло и десяти минут, как мы с ним вышли из поселка и углубились в лес. Еще в полной темноте мы шагали по проторенной зимней тропе, часто спотыкаясь и проваливаясь в глубокий снег.

Нижний склад Тувинского лесозаготовительного пункта Тайгинского леспромхоза расположен в семи километрах от Заломной, несколько выше по пересыхающей зимой и летом речка Туиле. И изо дня в день бракерам сплавучастка приходится пешком преодолевать это расстояние туда и обратно.

Сергей Иванович почти всю дорогу молчал и показался мне угрюмым нелюдимым человеком.

Только когда пришли на место, он терпеливо стал объяснять мне, подводя к уже готовому штабелю:

– Вот, гляди: на торце бревен выбита маркировка. Арабскими цифрами обозначается диаметр среза, а буквами - название ассортимента. Буква “ш” - обозначает шпалу, буква “п” - пиловочник, буква “к” - кедр-карандаш, а “р” - рудотейка, она не толстая и не длинная, но самый важный ассортимент, он идет на шахты Кузбасса.

Потом он познакомил с размерами бревен по длине, с допусками сучьев и гнили для каждого ассортимента и добавил:

– Ну, всего этого сразу не запомнишь. Дома вечерами будешь заучивать ГОСТы. Сейчас я пойду принимать лес с подсанок, а ты заточкуешь вот эти штабеля.

На десятке их он мелом поставил номера, дал мне заранее приготовленную гладкую и чистую и разлинованную на столбики и клетки дощечку, карандаш, метр и клеймо:

– Вот заточкуешь все бревна, так поставь на комлевых торцах знак.

Только позднее я понял, что сплавных бревен не хватало, и они не успевали принимать заготовленный леспромхозом лес. Поэтому штабеля, которые я принимал еще пока бессознательно, помогли мне в рекордно короткий срок - за десять дней, вместо трех предусмотренных месяцев, освоить специальность бракера. А, возможно, это природное: немного позже, в 1945-1946 годах, я за один год окончил Томский библиотечный техникум, вместо трех, за четыре года - заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС, вместо пяти. Но это уже намного позже. Длина бревен, диаметр торцов, маркировка и клеймо за первый же день так примелькались мне, что, ложась спать, я едва закрывал глаза, как начинал видеть все это, будто наяву, в нос ударял крепкий запах хвойных смол разных пород деревьев.

После первого дня работы, как и впоследствии, домой мы возвращались поздно, в темноте. И я так и не разглядел своего учителя в лицо. В конторе, при слабом свете керосиновых ламп заняться этим тоже было некогда. Здесь Сергей Иванович расшифровывал мои точки, подсчитывал кубатуру и объяснял мне, как это делается. На прощание он дал мне полевую сумку, кубатурник и ГОСТы на сортаменты и велел подготовить дощечку на следующий день, соскоблив осколком стекла сегодняшние данные с дощечки, разлиновать ее.

В эту ночь спалось крепче, но долго не пришлось, часа два - до полуночи просидел, выполняя поручение Сергея Ивановича, а к четырем надо было опять быть готовым в путь на Туилу.

Туила. Зимой от этой речушки остается только название да неширокая долина, зажата материковым берегом Чулыма и тайгой. Дикая тайга, простирающаяся на десятки и

сотни километров, с правой стороны спускается с горы к самой Туиле - левому притоку Чулыма, малого, но имеющего большое значение во время сплава заготовленной древесины. Слева к ней, Туиле, подступал уже вырубленный бор. Местами ветви вековых елей и кедров, растущих по берегам речушки, сливались вершинами. Крепко стиснутый зелеными стенами мелководный ручей бежал где-то под глубоким слоем снега и льда.

Весной же Туила, вспененная талыми таежными снегами, ярится и играет и, до краев наполнив свое русло, бешено рвется в Заломную старицу и вместе с нею - в Чулым. Вот в эти-то дни сплавщики и стараются успеть мулом прогнать весь лес на большую реку, где он плотится, формируется в кошели, частью, когда в Чулыме спадает вода, пускается по нему мулом.

Зимой по берегам Туилы ставили столько штабелей, что встанешь на крайний и не увидишь последний.

За десять дней я закончил приемку всех штабелей, указанных Сергеем Ивановичем, и наизусть выучил все ГОСТы, запомнил кубатурник и крепко подружился со своим учителем. Но так и не успел разглядеть его как следует.

Однако Сергей Иванович зорко следил за моими успехами в познании бракерской профессии, и едва я заточковал последний непринятый штабель, как он сказал:

– Сегодня будем принимать у тебя экзамен, а завтра начнешь принимать лес самостоятельно, с подсанок.

Он не спрашивал, готов ли я к этому. Сергей Иванович был опытным человеком и сам знал, что я не подведу его.

И вот, волнуясь, я сижу напротив начальника, старшего бракера и секретаря партбюро (фамилии двоих последних не запомнились).

Сергей Иванович устроился рядом со мной. Своим локтем я чувствую его бок. Он очень спокоен, и мне этого достаточно, чтобы не волноваться, как на школьном экзамене, не сбиться и не запутаться при ответе. А вопросов задают мне много, ответов требуют обстоятельных. Не все, конечно, идет гладко, кое-что сразу не могу вспомнить, тогда на миг прикрываю глаза, и передо мною до галлюцинации явственно возникают названия сортиментов, цифры кубатурника. Мне остается лишь спокойно продолжать свой рассказ.

Потом все, и Сергей Иванович первый, удовлетворенно поздравляют меня.

Так, за короткий срок, в полном соответствии с нормами военного времени, я овладел специальностью и сделал для себя серьезное открытие - интересную профессию, о которой я никогда даже не знал и не задумывался, размышляя о собственном пути и месте в жизни.

## **8. Сезонницы**

Принимать лес с подсанок гораздо труднее. Здесь стоишь лицом к лицу с леспромхозовским бракером и возле каждого бревна споришь с ним, почти на кулаках, а это девчонка. Но меня трудно в чем-либо переубедить, заставить пойти на подвох, ложь. Я не

допускал никаких отклонений от ГОСТов, а она знает их нетвердо и ошибается от всякого подвоха.

Сергей Иванович, замечаю, поглядывает на меня с гордостью.

Оказывается, он немного выше среднего роста, крепкого сложения, с простым и открытым русским лицом. О том, что он всегда справедлив, я знаю с первых же дней знакомства с ним.

На лесоповале работали одни женщины - сезонницы из ближайших и даже дальних деревень района. Все они были колхозницами или заключенными лагпунктов Томсинлага, расположившихся на территории зырянского района. А их, лагпунктов, была в окрестностях Заломной - большая масса. Кроме того, поблизости было много спецпереселенческих поселков, подобных Заломной. В них жили подневольные семьи так называемых “кулаков” - выселенных из родных мест крестьян. В основном они прибыли из Красноярского и Алтайского краев. В Причулымье таких спецпереселенческих поселков было много десятков в Асиновском, Зырянском, Пышкино-Троицком (ныне Первомайском) и Тегульдетском районах. Это был поистине край ссылки и лагерей.

На Туилинском лесопункте кадровыми были лишь двое: мастер и прораб. А вообще-то, я в этом не убежден, скорее всего, и они были из спецпереселенцев. Например, в Заломенском сплаваучастке все начальство и служащие были “кулаками”: начальник, мастера, бракеры, прорабы, женщины в конторе.

Сезонницы, плохо одеты, всегда злые из-за непрерывных придинок и матерков прораба, к месту и не к месту. Это был рослый, странно упитанный мужик, в то время как женщины, истощав от постоянной голодухи, часто падали в снег, а он в том году был необычайно глубоким, от изнеможения и голодного обморока, но этот краснорожий битюг не только не сочувствовал им, а напротив, спешил к упавшей и орал:

– Поднимайся! Притворилась ведь, чтобы сделать передышку. Вот как окрещу тебя дрыном!

И на самом деле замахивался дрючком, каким захватывали сезонницы бревна на подсанки и штабеля.

Он ударил бы женщину, если бы неожиданно не окружили его остальные сезонницы, начавшие отнимать обессилившую женщину, и одна из них, низкорослая и худущая, но бойкая на язык кричала на всю лесосеку:

– А ну-ка ударь, холуй толсторожий! Попробуй, ударь! Что мы тебе зэчки или крепостные какие-нибудь?!

Ни она сама, ни все другие даже не понимали, что на самом деле они и есть действительные крепостные: - без паспортов и права без спросу у председателя, назначенного райкомом партии, не могли они отлучаться с территории колхозов, а за каждое неловко сказанное слово могли попасть в лагерь смерти.

А прораб вдруг опустил дрын, откинул его в сторону и с гаденькой улыбочкой, видно, он был все-таки не спецпереселенец, сквозь зубы произнес:

– Вот и поймал тебя на слове - сама в зэчки просишься.

И ни на другой день, и никогда больше никто не видел на лесосеке той “остроязыкой”. Немного времени спустя, стал я спрашивать о ней у женщин, но те испуганно отворачивались. У некоторых успел я увидеть слезы на глазах.

Сергей Иванович сам ли слышал, или какая из женщин поведала ему о моих расспросах, сразу же отвел меня в сторону, подальше от лесосеки и, заметно приглушив голос, заговорил:

– Ты брось это, парень, а то возьмет какая-нибудь шалавая из них же и передаст тому же красно..., - он не закончил начатое слово и поспешно поправился, - этому прорабу.

Я не сразу понял его намек, до меня тогда дошел лишь перед тем, как заснуть. И животный страх вселился в мою пустую башку, и хотя на ней были глаза, до этого я ничего не понимал и не видел. Ко всем заключенным, поголовно, относился отрицательно. Так потом этот страх у меня и не проходил до тех пор, пока я навсегда не покинул Заломную.

И за всю жизнь не прошел, он вогнан в меня, и освободиться от него сумею лишь в свой смертный час. Это о нас - “от сумы да от тюрьмы - не зарекайся”...

А тогда сезонницы двуручной пилой валили многовековые кедр, ели и пихты, топорами обрубали сучья, разделявали на пяти-шестиметровые бревна, дрючили в глубоком снегу, накатывали на конные подсанки и по ледянке подвозили к местам штабелевки. А другие дрючками де закатывали их на штабеля высотой от трех до пяти метров и немалой длины.

В ходьбе и работе с раннего утра и до поздней ночи незаметно кончалась зима.

Я стал уже заправским брокером, и мне повысили разряд, хотя денег, зарплаты я никогда не видел, а сколько их за меня получала тетка Марина, я не знал, не знаю и до сих пор. Нравилась мне эта профессия, тем не менее, мои простые родители очень прочно с раннего детства вдолбили в мою голову мысль о моем более высоком предназначении.

Все началось с того, что в детстве я неплохо рисовал, и, учась еще в начальной школе, добивался максимального сходства с картинами и портретами великих художников, которые перерисовывал.

Мама с тетей внушали:

– Будешь художником.

Дома я не брался ни за какую работу, даже самую мелкую, в школе нам тоже внушали, что нас ожидают техникумы, институты и даже академии, инженерная, научная, педагогическая, медицинская деятельности. И мы только мечтали о том, что станем летчиками, геологами, художниками, артистами, конструкторами. Забегая вперед, скажу, что никто из нашего класса не стал летчиком, геологом, художником, артистом или конструктором. Из моих ровесников, во всяком случае.

И все-таки положение, в котором я оказался в Заломной, считал временным и после войны думал идти к своей заветной цели прежним путем - учебной, а там, мол, стану тем, кто из меня получится...

Лесопункт заканчивал вывозку и штабелевку последних сотен кубометров древесины, которую можно успеть сплавить по Туиле, если позволит весеннее половодье на ней.

Вообще-то нужное по плану количество древесины было принято сплавучастком еще неделю назад. Но и в этом случае должен был наступить предел.

В один из дней приехал Каськов, чтобы окончательно договориться с лесозаготовителями о прекращении заготовки древесины на Туиле.

Бревна уже подвозили из лесосеки не спеша, и я по несколько минут сидел на сухой, нагретой солнцем валежины в ожидании. Был теплый день конца марта. Солнечные лучи уже хорошо прогревали, вокруг деревьев вытаял снег, и с них он тоже давно сошел. Прямо над ухом долбил ствол высохшего дерева большой черный дятел. Его собрат, только чуть поменьше и похожий на сороку, деловито бегал и постукивал крепким клювом, как молоточком, по высокому, в полдерева пню, выискивая в его недрах пищу.

Начинающая уже рыжеть белка появилась невесть откуда и забралась на самую вершину высокой молодой и стройной ели.

Стоявший неподалеку Сергей Иванович заметил:

– Нынче весна ранняя будет, белка-то в летний цвет уже рядится.

В это время и подошел Каськов. Он заговорил с Мочаловым. Залюбовавшись красивым зверьком, я не слышал, о чем они толковали. Только Сергей Иванович вдруг окликнул меня и сказал:

– Сбегай-ка за начальником лесопункта.

Мне же совсем не хотелось покидать это чудесное теплое место, расставаться с этой белочкой, и я раздраженно подумал: “Не может уж рабочего послать, как будто я обязан”. И не задумываясь, отказался:

– Не пойду!

– Ах ты, сопляк! - рассвирепел мой учитель. Он говорил о моем чванстве и зазнайстве, и против этого я ничего не мог возродить, только удивился, как точно он разглядел во мне эти вредные черты характера, и раскаивался.

Я сходил на лесопункт, до него и расстояния-то - рукой подать. Однако Сергей Иванович потом долго не шел со мной на примирение. Свое отчуждение, появившееся с тех пор ко мне, он, конечно, ни чем не возражал, и все-таки я его чувствовал.

Это был мой первый урок, полученный в школе жизни.

## 9. Пикеты

Весна нагрянула с такой стремительностью, с какой наши войска продвигались на запад.

Не прошло еще и недели, как мы прекратили приемку древесины на Туиле, а она уже начала вздуться, с каждым днем принимала все новые потоки талых вод. Требовалось установить за речушкой постоянное наблюдение, чтобы не упустить момент своевременного начала сплава.

В конторе разрабатывали план сплавных работ. Каськов сказал:

- Кого-то надо назначить водомерщиком.
- Разрешите мне, - поспешно напросился я.

Сергей Иванович, сидевший спиной ко мне, заметно вздрогнул.

- Хорошо, - утвердительно отозвался начальник и объяснил, что и как надо делать.

И я снова поднимаюсь в четыре утра и быстрым шагом направляюсь к водомерному знаку, что установлен на четвертом километре от устья речушки.

До Туилы я дохожу к восходу солнца. Едва я разгибаюсь, посмотрев до какой отметки дошел уровень воды, как в глаза мне ударяет ярко-красный, но не жгучий пока еще, а ласковый луч, пронзивший тайгу. И пока можно выдержать, я не отрываюсь взглядом от большого, солнечного кроваво-красного диска, сперва медленно, одним верхним краем высовывающегося из-за горизонта. Потом он все стремительнее несется по небу, превращаясь вначале в “золотой” и, затем, почти в бесцветный небольшой кружок. И я уже больше не выдерживаю, отвожу от него глаза. Взгляд человека можно выдержать, а Бога-Солнца - нет. Это не дано простому смертному.

Домой я возвращаюсь, часто проваливаясь в рыхлый даже на торной дороге снег, и замечаю, как она с каждым днем рушится. Сначала в ней появляются разрывы, в которые устремляются целые потоки воды, потом от нее остаются лишь грязно-серые ледяные островки. Если нельзя обойти стороной, то я, хлюпая сапогами, шагаю прямо через потоки, с каждым днем становящиеся все шире. Это в лесу. По лугу ходить уже хорошо. Здесь давно нет ни снега, ни дороги. Мягко шуршит под ногами сухая прошлогодняя трава.

После завтрака ко мне заходит Афонька. Это сын Сергея Ивановича. Он на гол младше меня, но уже опытный бракер. Зимой он принимал лес на другом участке и вернулся оттуда на днях. Афонька коренаст, крепко сложен, выше меня ростом. Лицо у него приятное, смородиновые глаза всегда светятся бесхитростно и умно, кожа лица очень чистая, равномерно-румяная от загара на постоянном морозе и ветру. Это чертовски остроумный парень. Мы с ним идем на Туилу, и я не замечаю ни дороги, ни луж, через которые идем напрямик - столько он знает забавных историй и анекдотов, шуток и прибауток.

На Туиле мы занимаемся важным и интересным делом. Разбиваем ее на пикеты: отмерив стальной рулеткой сорок метров, вырубам и отесываем столбик, вбиваем его в землю и подписываем на нем номер. Начав с устья речушки, эту работу надо провести до конечного штабеля.

Дни стоят теплые, но в тайге еще нет ни комаров, ни мошки. На берегах Туилы не видно уже снега. Очнувшиеся от зимней спячки, деревья днем дышат теплом и источают мягкий смоляной дух. Кое-где сквозь прошлогоднюю полусгнившую листву пробивается изумрудно-зеленая травка. Она - еще сама свежесть и нежность. Под молодыми осинками виднеется, хотя еще едва-едва, колба, расточки меньше мизинца. В иных местах эта съедобная и целебная трава называется черемшей. Будто встретившись с лучшим другом, я обрадовано спешу сорвать несколько корешков, и наслаждаюсь их горьковатым, но приятным вкусом.

К концу третьего дня работы мы установили последний пикет. Было одиннадцатое апреля.

Возвращаясь под вечер домой, мы задержались у водомерного знака. Афонька глянул на отметку и уверенно изрек:

– Не сегодня-завтра-послезавтра начнем сплав.

Теперь я каждое утро ездил сюда верхом на лошади - прозевать было нельзя.

На период первичного сплава из окрестных колхозов начали прибывать сезонники, опять одни женщины. В поселке стало многолюдно и оживленно.

По вечерам я занят тоже важным делом. Провожу репетиции пьесы, мною же сочиненной, помнится, - на атеистическую тему, с которой готовимся выступить перед сплавщиками в майские праздничные дни. Главные “артисты” - Афонька, молодые рабочие и работницы участка, больше - подростки или калеки, не взятые на фронт из-за хромоты или слепоты. Нашлись любительницы и из сезонниц. В их числе приехала из Зырянки группа служащих сплавной конторы.

В день, когда мы закончили установку пикетов, Афонька пришел на репетицию не один, а с незнакомой девушкой. Сказал:

– Знакомьтесь!

Девушка протянула мне руку:

– Лена, - она не спешила закончить рукопожатие и, услышав мое имя, добавила: - А мне Афоня про Вас уже рассказывал.

Голос у нее был такой приятный и мелодичный, как звон серебряного колокольчика, он прочно задержался в моих ушах и, как оказалось, на всю жизнь. Пишу, и грезится он будто вот сейчас, наяву.

Но не один ее голос имел такую притягательную силу. У девушки была нежная улыбка и небесного цвета большие глаза, обворожительная обходительность со всеми.

Афонька познакомился с Леной давно, и были между ними близкие приятельские отношения. Впоследствии я стал у них посредником.

Афонька доверительно рассказывал мне, что у них было с Леной при встречах наедине, девушка выпытывала у меня все, что я мог знать об Афонькином отношении к ней, не замечая того, что открывается мне во всем. Конечно, все, что они откровенно рассказывали друг о друге, оставалось при мне, однако я всеми средствами поддерживал их дружбу. Поддерживал, хотя скоро и точно узнал, что Афонька не любит Лену, а она, наоборот, полюбила его не всю жизнь. Прошло с той весны уже больше пяти десятилетий, и я точно знаю, что спроси ее сейчас об этом, она в любой момент скажет: - “Да, я люблю Афоньку”. Скажет не “любила”, а “люблю”. Любит, несмотря на то, что Афонька на всю жизнь в ту весну украл ее счастья, которого она не нашла с другим человеком, ставшим ее первым мужем. А позже и со вторым, и с третьим. Не нашла ни с кем.

Снова я отвлекся от ровного течения моей повести. И все потому, что хочется, как можно больше поведать о друзьях своей молодости, тяжелой, но прекрасной. Ведь кончится

сплав, и мы с ними расстанемся, может быть, навсегда. Так и оказалось, с Афонькой мы не встретились никогда, хотя с Леной судьба сводила меня еще не раз при всевозможных обстоятельствах и мимолетно, только она была уже далеко не такой, как в ту весну. Судьба у нее оказалось сложной. Если она еще жива, дал бы Бог. Вот что значит, когда человека обманут и сломают в невинной юности.

По утрам я продолжал вести наблюдения за речушкой и о результатах своих поездок докладывал Каськову или Сергею Ивановичу уже по несколько раз в день.

Сергей Иванович теперь снова глядел на меня приветливо. Из его речи исчезла сухость и отчужденность, и у меня отлегло от сердца.

## 10. Афонька

Афонька угадал. Через день я не ехал, как до этого, спокойно и не спеша, а гнал лошадь во всю мочь. Каськов стоял у конторы, еще издали увидел меня и пошел навстречу. Мы встретились возле конюшни. Не ожидая моего сообщения, начальник заговорил первым:

- Скажи тете, чтобы она собрала и направила к баракам с сезонниками всех бракеров и десятников, и сами приходите туда же.

Выполнив поручение начальника и прихватив с собою завтрак и обед, я направился к баракам. Еще от своей двери увидел, что к нашему дому по привычке подходит Афонька. Я подождал его.

Сезонники уже вышли из барачных корпусов и разбивались на группы. Едва мы с Афонькой подошли, Каськов сказал:

— Назначаю вас десятниками и даю каждому по сорок человек, будете ежедневно расставлять их по пикетам и руководить работами. Твои, Афанасий, пикеты - от устья, а твои, - это он мне, - начиная с сорокового. Багры - на месте.

Взяв рабочих, мы повели их на Туилу. Лена стала в мою группу и, весело раскачиваясь, подзадорила моего друга:

— Ну, берегись Афоня!

Мы как раз расходились в разные стороны: его группа - влево по берегу Заломной, а моя - по дороге к водомерному знаку, около которого был сороковой пикет. Афонька нам обоим погрозил кулаком, а Лена, нарочно, подхватила меня под руку.

Скоро пришли на речушку. Рабочие разбирали багры и, направляемые мною, уходили вверх по ней и занимали свои места возле пикетных столбиков.

— Ты меня отправь подальше куда-нибудь, - задорно воскликнула девушка, - чтобы Афонька ко мне пореже приходил, а то сейчас же припрется.

Но я знал, что ее слова надо понимать наоборот, и оставил ее на сороковом пикете, не встретив ее неодобрения. И когда расставил всех рабочих и вернулся обратно, Афонька был

уже возле Лены. Мне тоже хотелось побыть наедине с девушкой, однако я, как можно бодрее, пошутил:

– Третий в таких случаях лишний, пойду вверх, скоро уж лес поплывет.

Мельком заметил, что Лена посмотрела на меня с благодарностью, и поспешил удалиться.

Настоящая любовь делает человека покладистым, а я никогда не был эгоистом даже в этом чувстве. За два дня я еще не успел привыкнуть к возникшему в каких-то тайных глубинах моего сердца собственному увлечению девушкой, но уже был способен стесняться в ее присутствии, готов был, сломя голову, броситься исполнять любое ее желания, даже немые.

Но я уже видел, что Лена становится жертвой своей безрассудной любви к Афоньке. Я жалел ее, однако, я был не настолько опытен, чтобы предостеречь девушку. И вместо этого становился невольным соучастником задуманной Афонькой подлости. Хотя это произошло несколько позже.

Отошел я недалеко. Из-за крутого поворота, бешено рвущаяся вода Туилы стремительно вынесла первое бревно. С глухим стуком ударившись в завесу из черемуховой вицы, оно изменило направление и уже через мгновение промчалось мимо. Не успел я опомниться, как бревна пошли сплошной вереницей, потом даже по несколько штук в ряд. А через несколько минут у моих ног начал образовываться затор. Я неловко начал разбирать его своим багром и ничего не мог сделать. Заметив это, Афонька поспешил мне на помощь. Не успел я и глазом моргнуть, а он уже ликвидировал опасность.

– Видел, как это делается? - без чувства превосходства спросил он.

– Не успел понять, - честно признался я.

Афонька придержал багром одно бревно, поставил его поперек русла речушки, вновь начал образовываться затор. Однако друг не спешил научить меня. Скоро около нас насадило столько бревен, что мне показалось, нам их теперь никогда уже не сдвинуть с места. И тут Афонька взял мой багор, крепко воткнул его в одно тонкое бревнышко, снова отдал мне мое оружие и велел:

– Тяни на себя! Так! Придерживай!

Я выполнял его советы и видел, что одно за другим бревна - баланы, как их называют сплавщики, начинают отрываться от общей массы и уплывать. Когда двинулось и бревно, которое я придерживал, я отпустил его и уже без Афонькиной подсказки стал подправлять движение баланов.

В это время Афонька заметил, что Лена тоже мучается на своем пикете с затором. Она была за крутым поворотом, и по противоположному берегу до нее было ближе. Перепрыгивая с одного на другой, Афонька ловко преодолел десятиметровое расстояние по баланам, с бешеной скоростью пролетающих мимо. От восхищения я даже не успел вскрикнуть, а мой товарищ орудовал багром на ее заторе.

Вспомнив, что могут быть и неопытные сезонницы, я поспешно зашагал вверх по берегу речушки. Теперь я уже без особых усилий справлялся с заторами и учил людей тому же.

Минуты благополучия я тоскливо проводил наедине, чтобы не мешать Афоньке, и тогда на бумажно-белых стволах берез оставались виды на нездешнюю природу, девичьи профили, если я был уверен, что их не коснется посторонний взгляд. Сочинял стихи, посвящая их любимой девушке.

Нередко мы с Леной подолгу бывали вместе, без Афоньки, случалось даже, возвращались с работы вдвоем. Тогда я показывал и сам читал их девушке, а она искренне хвалила, не подавая вида, что понимает смысл моих сочинений, или на самом деле не догадывалась ни о чем, потому что этому препятствовала ее слепая любовь к другому.

Таким, как Афонька, всегда везет в любви, как в нашем случае, не обоюдной. Они без особого труда срывают то, что другим достается дорогой ценой и чаще всего один раз в жизни. Но, искуснее артиста сыграв свою роль с одной, люди, подобные ему, начинают играть и с другой.

Я знал, чего добивается мой товарищ от Лены, и не ошибся. Однажды утром Афонька рассказал о своем успехе. Только теперь я окончательно понял, что люблю Лену. В тот раз впервые в моей жизни от моего сердца отвалилось что-то большое и больное. Всем своим существом я почувствовал внутреннюю опустошенность, и весь день недомогал и страдал. С девушкой старался встречаться как можно реже, чтобы она не догадалась о том, что я все знаю.

Да, в первую мою трудовую весну было все.

После того, как все сезонницы хорошо освоились с обязанностями пикетчиков, мы с Афонькой сделались учетчиками. А потом и вовсе люди стали ходить на Туилу без нас. Мы же туда отправлялись пораньше, вдвоем.

Афонька по-прежнему оставался самим собой. По пути мы с ним разговаривали на разные темы: о его взаимоотношениях с Леной, о ходе сплава, событиях на фронте. Часто Афонька останавливался на берегу Заломной, на которой плотно друг к другу теснились бревна, и произносил речь:

— Товарищи баланы! События на фронте развиваются успешно. Наши доблестные бойцы, сотнями тысяч уничтожая фашистов, занимают один за другим вражеские города. Сейчас уже идет сражение за логово бешеного зверя Гитлера - Берлин. Мы здесь тоже самоотверженно трудимся для фронта, даем сибирскую древесину на восстановление народного хозяйства страны, разрушенных фашистами городов и сел. Так будьте же настолько сознательными, не стойте на месте, освобождайте место для других своих собратьев.

Так мы доходили до устья Туилы, и здесь Афонька оставался считать бревна, проходящие в Заломную, а я направлялся на боны - на километр выше по течению речушки. Тут во время к небольшому холму, поросшему вековыми осинами, вплотную подходил разлив в виде просторного озера, и в нем исчезала Туила. Поэтому по обеим сторонам ее русла были установлены боны - по три-четыре бревна, прочно сбитые поперечинами вместе. На них стоят рабочие и баграми проталкивают баланы вперед, в сторону Заломной. В том

месте, где боны начинались в нижней части течения речушки, примостившись на самом краешке, я вел учет бревен, проплывавших мимо меня.

С каждым днем становилось все теплее и теплее. Из дома же мы выходили еще по холодку, а пока добирались до устья Туилы, солнечные лучи уже грели во всю.

Однажды мне захотелось снять телогрейку. Не задумываясь, я сбросил ее и, спрятав в высокую прошлогоднюю траву, прикрыл сверху хворостом неподалеку от Афоньки и ушел на свое место. За телогрейкой я вернулся лишь к вечеру. Здесь все изменилось. Без меня Афонька пустил пал. Вся трава в лесу выгорела, деревья тоже были подпалены, кое-где валежник еще дымился.

Томимый недобрым предчувствием, я подскочил к месту, где оставил свою одежку. Подошел и поджигатель. На обугленной куче золы и пепла виднелся лишь воротник моей телогрейки...

На следующий день я пришел на работу в пальто мужа тетки Марины, который находился на фронте. Оно было осеннее драповое, полы его касались моих пяток. Даже матерившиеся и насмотревшиеся всего, сезонницы не могли скрыть улыбок, как, путаясь в его полах и, запинаясь, я бегаю по берегу. Я же все это болезненно пережил. Вечером на выручку мне пришел Афонька:

– Давай, пальто подрежем!

Я согласился, почти без колебаний.

Афонька извлек из своего блокнота лезвие безопасной бритвы и принялся за работу. Не прошло и пары минут, как пальто укоротилось на двадцать сантиметров.

## 11. Плотины

Празднование Первого мая проводили организованно: накануне вечером всех сезонников и кадровых сплавщиков пригласили в клуб. После доклада мы дали концерт. В нем выступала и Лена. Но она была расстроена своими переживаниями, и я не мог спокойно глядеть на нее, был зол на Афоньку. Однако поддаться собственным чувствам было некогда, я суфлировал исполнителям ролей.

Потом в зале в несколько рядов расставили столы и всем присутствовавшим в алюминиевые солдатские кружки разлили по 300 граммов водки. В то время я ее еще не пробовал, и свою долю кому-то отдал. Наверное, Сергею Ивановичу, хотя в тот день у меня был день рождения - исполнилось восемнадцать лет. В этот вечер Лена не допускала Афоньку и близко, все время была со мною.

А первого мая работали. С подъемом и остервенением. К тому же лес шел плохо, речушка совсем обсохла, местами толстые баланы проталкивали с усилием.

Во время сплава под одной из сосен Каськов созвал совещание командиров производства, подошли к нам и многие кадровые рабочие. Начальник говорил:

– Туила за период весеннего паводка способна пропустить мулем не более двадцати тысяч кубометров древесины, а мы приняли - сорок. Сегодня к обеду было пропущено около тридцати тысяч. Это благодаря героическим усилиям всего коллектива

сплавщиков, как кадровых, так и сезонников. Родина требует, чтобы мы не оставили на берегу ни одного бревна, не “обсушили” в русле.

- А где выход? - раздался чей-то сомневающийся голос.
- Выход мы должны найти. На фронте решаются задачи посложнее. Я думаю, что надо строить плотины, но со сплавом справиться полностью, - предложил Каськов.
- Правильно!
- Вот и выход. Будем строить плотины, - поддержало несколько человек.
- Не приостанавливая сплава, надо строить плотины, - внес предложение рабочий, только что сомневавшийся.
- Тогда, за дело, - подвел итог Каськов и начал новую расстановку людей.

Немедленно была подобрана группа людей на сооружение плотин. Оказалось, что еще до обеда были подвезены лопаты, пилы и топоры. Каськов был умным начальником.

Первую плотину начали строить около нижней части бонов, две бригады направили в верховья Туилы.

Кто поверит, что сидеть целый день на бонах и точковать проплывающие мимо меня бревна нелегко. Днями, бывает, дует пронизывающий ветер. Случается, с утра до вечера непрерывно идет дождь. Но рабочие не останавливаются, не отсиживаются дома, продолжают сплав. Руки коченеют и отказываются держать карандаш, зубы выбивают мелкую дрожь. Ноет затекшая без движений спина. От напряжения начинает резать глаза.

А рабочие ругаются: один пожилой кадровый, страдающий непрерывным и надрывным кашлем, то и дело справляется:

- Сколько насчитал?
- Две тысячи триста двадцать одно.
- Однако, мало, парень. Случайно, не убавляешь?
- Да нет, дядя.
- Ну, гляди, правильно счет веди.

Некоторые прямо требуют приписывать.

Я понимаю, что рабочим трудно, особенно пожилому, - у него куча ребятишек. Но я никогда не иду против своей совести. Мы же трудимся не только для себя, а и для фронта, для страны. Обманывать их в такое время у меня не поднимается рука.

Терплю, но и этому приходит конец, и вот я начинаю ненавидеть особенно нахальных и наглых вымогателей, пожилого. Пристыдить их, доказать их неправоту, у меня не хватает опытности, да я чувствую, что они и сами все понимают. И так каждый день.

А после работы, едва ляжешь спать и закроешь глаза, как все начинается сначала: перед нами нескончаемой вереницей проплывают между бонов бревна. Плывут: тонкие и толстые, вперед комлями и вершинами, по одному или по несколько в ряд.

Обед во время сплава для всех - общественный. Меню очень примечательное - каждый день жидкая горошница или баланда из костей. Рабочие здесь ругаются уже не на меня, а на всех и на все на свете. Хочется вступить с ними в спор, кричать, что время - военное и негде взять других продуктов, но ведь люди сами знают это.

Мне самому тоже не хватает порции, да мне-то не привыкать, дома приходилось и хуже, неделями не держал во рту ни крошки пищи. Однако здесь я сижу и сижу с утра до ночи, рабочим же приходится туго, хотя и ругаются, а делают тяжелую работу, при этом мокрые до пояса, а в дождь - и полностью. Работают яростно с темна и до темна, без выходных и праздников, чтобы успеть сплавить всю заштабелеванную на берегах Туилы древесину. Они не требуют снизить норму и строгого соблюдения рабочего дня, они недоедают.

Я все это понимаю, и уже хочется не ругаться с ними, я проникаюсь уважением к трудягам. Мне самому становится легче переносить собственные тяготы, они ничто в сравнении с тем, что испытывают сплавщики. Оказывается, и рабочие думают обо мне не так уж плохо.

Однажды в прохладный пасмурный день, когда люди были особенно раздражены, во время обеда появился начальник отдела рабочего снабжения сплавконторы. Все накинулись на него:

- До каких пор одним горохом давить нас будешь?
- Хоть раз в неделю мяса давал бы!
- Сам, наверное, не ешь так, как нас кормишь!
- За счет рабочих живешь!

Начальник ОРСа стоял ко мне спиной, и я видел, как он только пожимает плечами и молча разводит руками.

Подойдя ближе и глянув на его лицо, я сразу узнал хозяина дома, в котором мы с сестрой ночевали. Рабочие были несправедливы, и я неожиданно пришел в ярость:

- Что зря кричите на человека? Вы не знаете, а мне случайно пришлось ночевать у него. В квартире у них со старушкой одни стены, да два портрета погибших на фронте сыновей. Если бы не эти сердечные люди, то замерзли бы мы с сестренкой в январе среди Зырянки в полночь и подошли бы с голоду. А они отдали нам последний кусок хлеба, пустили отогреться и переспать ночь.

Никогда ранее я не произносил столь длинных речей. Я даже не заметил, когда рабочие перестали упрекать старика, притихли и смущенно потупили глаза. Они напряженно слушали меня. Говорил я просто и даже запальчиво, но мои слова действовали сильнее трескучих фраз.

И еще я получил один урок. Пожилой рабочий, тот самый, с которым мы были чуть ли не врагами, и которого я считал самым отсталым и вредным человеком, выдвинулся вперед и примирительно произнес:

– Выходит, напрасно набросились на человека. Этот парень врать не будет.

Так вот они какие, эти грубые на вид люди. Вмиг они преобразились и повели совсем иные разговоры.

– Ты уж прости нас, сам знаешь, не от хорошего житья рассобачились тут, - обратился к начальнику пожилой сплавщик.

Кто-то продолжил:

– Давай с нами обедать присаживайся, начальник! Поди, еще сегодня не ел в командировке-то?

Несколько рук с ложками протянулись к нему, а повариха уже поднесла миску с горошницей, дымящейся парком...

Пока мужчины, не мешкая, строили на Туиле плотины, женщины-сезонницы сидели на припеке, прямо на земле, из которой уже начинала пробиваться густая травка, мирно переговариваясь, друг с дружкой. Сезонницы тут уже не первую весну, и знают каждую, как одну. Они без дела не сидят: то вычесывают из ком паразитов, то ищут их у других и прямо не головах истребляют тыльной стороной ногтей.

Запомнилась одна полногрудая деваха из соседней деревни Малиновки. Звали ее Валентиной Зеленковой. Моя тетка еще все присватывала меня к ней:

– Шибко она мне нравится. Давно я ее знаю. Хозяйственная, спокойная.

Но мне эта Валя ничуть не приглянулась, я бредил Леной, хотя и знал, что она не ответит мне взаимностью.

Уже в начале девяностых годов я встретился возле гастронома с пожилым мужчиной, да и в колхозный магазин за молоком с ним вместе ходили. Ненароком познакомились. Александр Семенович Мельников, так зовут его, оказался уроженцем этой самой Малиновки. Как-то я поинтересовался Зеленковой.

– А, Валька, да я даже жениться на ней собирался.

Оказалось, что знал Валю Зеленкову и мой асиновский друг - Даниил Егорович Алин, ныне покойный. Мир - тесен...

Сплав продолжался, не прерываясь ни на один день, ни по праздникам, ни по выходным. Через несколько суток вода снова разлилась вокруг бонов. Для этого пришлось построить ниже них четырнадцать плотин. И на воду была скатана и выпущена в Чулым вся древесина.

## 12. День Победы

Девятого мая до полудня работа шла, как обычно: уставшие, проголодавшиеся рабочие дружно обедали на холме. Вдруг кто-то заметил, скачущего галопом по лугу прямо к нашему борю, не разбирая дороги, всадника.

- Эка гонит, видать, неспроста! – заметил пожилой рабочий.
- Шибко торопится, - поддержал его кто-то.

А всадник, что было мочи, кричал еще издалека:

- Победа! Победа!

Неожиданный наездник приблизился настолько, что его можно было уже узнать.

- Никак, сам начальник? - сказал пожилой рабочий.
- Он и есть, - подтвердили другие.

Не сбавляя галопа, Каськов на своей лошади влетел на холм и остановился посреди круга, враз образованного вскочившими на ноги сплавщиками.

– Товарищи! - срывающимся от волнения и радости голосом заговорил начальник. - Товарищи, родные мои, война кончилась!

Что тут произошло! Люди кинулись к Каськову, и, сняв его с лошади, начали качать его, подбрасывая высоко вверх. Обнимались, кто к кому был ближе, целовались крепче родных и влюбленных. Кто плакал, а кто смеялся. Не раз вековой сосняк потрясало мощное “Ура!”

Меня до хруста костей обнимал пожилой рабочий. Целуя, он говорил как-то взхлеб и даже без своего постоянного кашля:

– Сынок, неужели это правда? Счастье-то, счастье-то какое на земле наступило! Конец бедам людским и горюшку народному, конец голоду, вдовьим и сиротским слезам...

Потом Каськова водрузили на седло, как на трибуну, и заставили повторить те же слова. Не успевал он кончить, принимались снова и снова качать. Наконец, от начальника отступились, дали ему договорить. Каськов длинную речь не произносил, коротко закончил:

– Поздравляю, дорогие товарищи, с концом войны, с нашей великой и радостной победой! Злобный враг человечества, лютый зверь - капитулировал. Фашистские захватчики разгромлены. Наступил и на нашей улице праздник. Сегодняшний день объявляю нерабочим. Но, так как до обеда работали, то можно отдыхать завтра еще полдня.

- А как же лес? - перебили оратора.
- Воды с каждым часом становится все меньше.
- Обсохнет лес.
- Надо выгнать лес в Чулым, а тогда и отдыхать - праздновать.

Кричали все рабочие - кадровые и сезонницы.

– Правильно, товарищи! – обрадовался Каськов. - Враг капитулировал, но наши воины еще не сложили оружие. Они продолжают добивать остатки продолжающих сопротивляться фашистов. Мы тоже должны выполнить свою задачу. А придет время – будем нормально трудиться и отдыхать, справлять праздники. Как решили? Не оставим леса на берегах Туилы ни одного бревнышка?!

– Пошли, ребята! - позвал мой знакомый и первым зашагал к плотине.

За всю весну я не видел еще такого порыва, такой слаженной работы, как в этот и на следующий день. А ведь и раньше люди трудились напряженно и самоотверженно. Только тогда все делалось молчком, а то и с матерками, бранью. Работали, стиснув зубы, туже подтянув ремнями живот, через силу.

А теперь народ будто бы только что родился или получил свежее подкрепление. Все дружно наваливались, где случалась заминка. Смех, шутки, радость огласили берега малой таежной речушки, которых не было с самого Нового года, всю долгую, голодную, изнурительную войну.

Нет-нет, да и кто-нибудь вновь и вновь восклицал:

– Войне - конец! Мир! Как хорошо-то!

А солнце в эти первые дни мира во всю светило над Чулымом, Заломной, Туилой, над воспрянувшими сплавщиками. Было, вроде, так же, как и в прошлые ясные дни весны, и в то же время - по другому. Стало, словно еще теплее и небо сделалось голубее, и все былые горести как-то отодвинулись в сторону. Так и запомнился мне на всю жизнь этот самый счастливый день, вся та весна победы, необыкновенная и неповторимая.

К вечеру второго дня мира последнее бревно было вытолкнуто из Туилы в Заломную, а из той - в Чулым.

Сплавщики сделали это уже без меня. Утром третьих мирных суток я уехал сперва работать по зачистке, а позже сдавать древесину в лагерь смерти - бывший Гомсинлаг. Я навсегда покидал Заломную, чтобы уже никогда не встретиться со своими старшими товарищами и молодыми друзьями, кроме Лены, а главное, - с Афонькой Мочаловым. Правда, с Сергеем Ивановичем, переехавшим впоследствии в Асино и построившим дом позади огорода моей Лели, мы запросто могли встретиться, однако, сам до сих пор не пойму, что помешало этой нашей встрече состояться. Едва ли жив еще теперь Сергей Иванович. Мне и то с 30 апреля 1997 года идет восьмой десяток лет.

Но я никогда мысленно не расстаюсь с ними, теми, которые научили меня любить труд и людей. Эта моя повесть тому - залог.

### **13. Зачистка**

Зачистка - важный этап молевого сплава. В половодье бревна по Чулыму пускают вольно, не в кошелях и плотах. В этот период баланы расплываются из русла на пойму, оседают на берегах после спада большой воды. В это же время из Заломной по Чулыму начинает спускаться плот. Посередине него стоит вместительная избушка с железной печкой. В избушке на ночлег размещается бригада сплавщиков-сезонников. В определенных местах

плот причаливает к берегу, и позади его, и впереди рабочие спихивают с берега и выталкивают с мелководных заливов и стариц баланы.

Вот в этой избушке, вместе со всеми, находился и я. У нас была лодка и багры. Мне тоже не раз приходилось вытягивать на яр стальной трос и зачаливать трос за крепкие пни и деревья.

И так мы спускались вниз по Чулыму изо дня в день, с неделю, а, возможно, и больше. В любую погоду.

Помнится, однажды, разыгралась буря: волны ярились и дыбились, а мы с плота должны были на лодке добраться до берега всей бригадой. За рулевое весло взялась одна из пожилых женщин, а я сел за одну из гребных пар. Плот, хотя был причален к яру, но находился далеко от него. Поближе не могли подойти из-за непогоды.

Едва мы оттолкнулись от плота, как лодку развернуло, и боковые волнами начало переворачивать, она опасно накренилась. Женщины повскакали на ноги и готовы были выпрыгивать из лодки, рулевая растерялась. Хорошо, что я сидел рядом, оттолкнул рулевую, занял ее место, а на остальных закричал матом, чтобы немедленно сели и развернули лодку против волн. И женщины ранее никогда не слышавшие от меня матерных слов, повиновались моей команде. Я с раннего возраста привык управляться с обласом и лодкой, и на этот раз мы благополучно прибились к берегу. А стоило мне растеряться, вся бригада могла утонуть на самой глубине.

После этого я сам стал садиться за рулевое весло, не доверяя женщинам, хотя некоторые из сезонниц считали меня слабосильным мальчишкой.

Дня через два зачистки мы подчалили свой плот к устью Кии.

Тут нас встретило начальство сплавконторы, сообщило:

– В полуверсте выше по Кие - залом. Чтобы выплавить из лес, придется его разбирать.

#### **14. Залом на Кие**

Май, до самой середины, когда наш плот причалил к устью Кии, стоял ведренный, солнечный. За две недели не случилось ни одного дождя. Но здесь мы задержались на трое суток.

Метрах в ста от впадения Кии в Чулым она была перегорожена болами, улавливающими молевой лес, шедший с ее верховьев. Но рейда тут не было, и лес никто не плотил и не собирал в кошелю, поэтому бревен здесь, возле бонов, набилось столько, что образовался огромный затор. Он был высотой с полутора - двухэтажный дом. И боновое ограждение выдержало, не разорвалось лишь только потому, что затор уперся своим основанием в дно реки. Он сам стал плотиной.

А нам предстояло разобрать этот затор.

Когда мы - сезонницы и я, подошли к нему, то ахнули: разве возможно разобрать такой огромный затор?

Возле него уже толпилась небольшая группа людей, видимо, начальство сплавконторы Зырянки. Среди них был Каськов, технорук Заломенского сплава участка и все пожилые бракеры во главе с Сергеем Ивановичем. Они уже, наверняка, решили, с чего начинать. Мы же с баграми в руках стояли в растерянности. Все мужчины полезли на вершину залома с дрючками, топорами и баграми. Сперва они начали скидывать вниз, в воду, через боны, бревна, что легко поддавалось их усилиям. Многие из них, особенно пожилые, видно, не первую весну участвовали в сплавных работах и имели немалый опыт в подобных делах. За женщинами последовал и я.

Мало-помалу вершина залома начала исчезать уже в первый день его штурма. Но вскоре слабо держащиеся бревна кончились, и остающиеся пришлось вытаскивать с большими усилиями. Тут собрались все мужчины и сезонницы. Опытным сплавщикам помогала смекалка.

Ночевали в эти дни мы не в избушке на плоту, а в большом высоком строении. Спали вповалку на потолке, находившемся на высоте трех метров.

Я же иногда не хотел забираться на потолок и ночи проводил на берегу Кии, возле тальников.

Здесь впервые услышал я голос сказочных птичек, о которых я даже не имел представления, что они у нас есть.

Теперь же, во время сна на потолке огромного лесопильного цеха с редким настилом, притрушенным прошлогодним сеном, где вповалку, для тепла плотно прижавшись друг к другу, спят наломавшиеся за день на разборке залома сплавщики, или, как сегодня, когда меня заставили дежурить на кухне, для того, чтобы поварихи не смудрили что-нибудь с продуктами, я заслушивался пением ночных птичек, сразу догадавшись, что это и есть сибирские соловьи.

Их здесь оказался целый хор, легко спрятавшийся в густых прибрежных тальниках. А догадался, что это соловьи, потому что с детства знал почти всех сибирских птиц - от воробья до иволги, и не мог спутать пение или просто крик ни одного из пернатых певцов. Но тут была такая разноголосица, такие серенады с переливами, с пересвистами, пощелкиваниями, что казалась она - райской музыкой, от которой настолько забываешь о себе, что будто растворяешься в ней, ни чувствуя, ни своей плоти, ни даже зубной боли, от которой беспрестанно страдал я.

Лишь спустя много лет, попав в санаторий ЦК КПСС "Марьино" узнал я, что пение сибирских соловьев ничем не отличается от пения курских.

А тогда Кия утонула в толстом слое ватного белого тумана. Растворились в нем и тальниковые заросли, среди которых прямо на иструхлой от воды, а сейчас сухой колодине я сижу, позабыв о задании сплавного десятника приглядывать за поварихами. Лишь соловьиный хор, оглушительно звучный и многоголосый гремит над моей головой. Он, постепенно исходящий на нет где-то далеко-далеко вверх по реке, справа от меня, захватил, растворил, заколдовал все мое существо. И я будто превратился в сказочного героя и теперь готов пойти, хоть на какие муки мученические, хоть на подвиг во имя всех людей на земле...

Через трое суток наш плот отчалил от устья Кии и направился дальше, вниз по Чулыму. Мы продолжали сталкивать с берегов обсохшие на них бревна. И так - до самого Асиновского рейда...

### **15. Асиновский рейд**

Через трое суток наш плот отчалил от устья Кии и направился дальше, вниз по Чулыму. Мы продолжали сталкивать с берегов обсохшие на них бревна. И так - до самого Асиновского рейда. Здесь меня вместе с другими сплавщиками поместили в барак, где трудовой народ спал на нарах, вповалку.

От начала Быстрой Курьи мы продолжили, опять же модем, сплавать лес в Асиновский лагерь. Меня отправили на стык Быстрой Курьи и Красной пересчитывать сплаваемые бревна. Туту мы находились вдвоем с бракером, он был намного старше меня. На бракерских дощечках мы точковали каждое бревно, направляемое в Красную Курью, на берегу которой раскинулся лагерь, а вечером подводили общий итог. Второй бракер был от лагеря. Таким образом, велся контрольный учет сплавленной за сезон древесины.

Но на Асиновском рейде мне довелось заниматься не только обязанностями учетчика, иногда меня посылали за хлебом в пекарню, находившуюся на том высоком берегу Быстрой Курьи, рядом с лагерем.

Однажды произошел со мной курьезный случай. За хлебом я ездил на хлебозвке, запряженной молодым, но здоровенным быком. И в тот злополучный день он сыграл со мной злую шутку. Не доезжая на обратном пути до рейдового поселка километра три, бык неожиданно свернул с дороги в левую сторону и, метров сто проехав по лугу, не повинуюсь мне, завез упряжку в глубокую воронкообразную, но сухую яму. Она была так глубока, что хлебозвка вместе с быком и мною стали не видны с дороги.

Несмотря на все старания, бык стоял, как вкопанный, и даже не думал выезжать из этой воронки. Намучившись до изнеможения, я, бросив хлебозвку, пришел в поселок на конюшню и позвал себе на выручку конюха Князева. Многие, встреченные в жизни фамилии забыл, а вот эту запомнил навсегда...

Вскоре появилась потребность направить одного из бракеров сплава в лагерь, сдавать там сплавленную за весну древесину. Выбор пал на меня - восемнадцатилетнего парня. Остальные бракеры, более опытные в зырянской сплавконторе, оказались из бывших "кулаков", потому что были спецпереселенцами из южных районов Западной Сибири - Красноярского и Алтайского краев. В Асиновский лагерь они могли попасть только как заключенные.

Мне выдали пропуск на территорию лагеря, и я ежедневно, живя на рейде, выходил туда на работу.

Оказавшись на территории лагеря, я сразу увидел длинные ряды штабелей леса высотой от пяти и более метров. Бревна, плывущие от Быстрой Курьи и далее по Красной по водному коридору из бонов, заключенные баграми подплавливали к болиндеру, и тут их подхватывали его острые зубья. По транспортной цепи, набухшие от воды, бревна выгружались на берег и далее они тросом лебедки подавались в штабель.

Очередной, только недавно начатый штабель, был заложен возле болиндера.

В том году, после освобождения Красной Армией Бесарабии, в Асиновский лагерь, к тому времени превратившийся в типичный лагерь смерти, пригнали пленных офицеров бывшей румынской армии. Сколько их было, я не знаю, но в те годы в Сибирь, в частности, в Причулымье возили эшелонами.

В Томсинлаге, лагерные пункты которого были раскиданы в 30-40 годы по Асиновскому, Зырянскому и Тегульдетскому районам Среднего Причулымья, подавляющее большинство составляли политзаключенные. Да вот в Асино еще - военнопленные румыны и, наверняка, поляки и прибалты. (Когда мы, “мемориальцы” в 1989 году открывали памятник жертвам политических репрессий на Воскресенском кладбище, то на его окраине еще сохранялись кресты погибших в лагере прибалтов).

В тот же день стало известно, что в 1945 году сюда привезли пятьсот моряков.

Подсобное хозяйство Томсинлага находилось на пойме, между Феоктистовкой и Вознесенкой. На памяти - неоглядное капустное поле. Его мой отец и сторожил, на помощь ему из лагеря на день пригоняли военнопленного румына.

Когда я навещал отца, он всякий раз говорил о своем напарнике как о грамотном и умном молодом человеке высокой культуры.

Бывший офицер румынской армии был одет в загрязнившуюся уже военную форму. Он был молод и с отличной выправкой, но заморен и тощ как заключенный. Видимо, между иностранными военнопленными и заключенными соотечественниками различий в лагере не делали. Голодом в Томсинлаге морили всех одинаково, принуждали к тяжелым и непосильным работам - тоже. Наверное, румын, как и мой отец, был “доходяга”, и их направляли на капустное поле подкормиться.

Теперь хорошо известно, что в Томсинлаге от голода, непосильной каторжной работы и систематических расстрелов погибли многие сотни и тысячи ни в чем не повинных людей. А я, на фоне “кулаков” был безобидным полу мальчишкой с хорошей характеристикой от сплавконторы: честен, бескомпромиссен.

Постепенно выяснилось, по мере ежедневного посещения лагеря, что страх мой перед заключенными - напрасен. Заключенные были вовсе не свирепыми чудовищами, а обычными и добродушными людьми. Подавляющее большинство из них просто не обращало на меня внимания.

Немного времени спустя, я осмелился ходить по территории лагеря, наблюдать за работой заключенных. Помню, заходил в кузницу, гончарную мастерскую и постоянно бывал в сапожной мастерской, где вскоре стал “доверенным” человеком. Сапожники клали в мою сумку тапочки, и я выносил их из лагеря, а затем на Асиновском базаре продавал их и закупал на выручку махорку, чай (я тогда ничего не знал о “чифире”) и даже водку - “чекушки”. Они до сих пор стоят у меня в глазах. На контрольно-пропускном пункте меня почему-то никогда не проверяли, и я беспрепятственно проносил в лагерь и обратно все это...

Под осень того же, 1945 года, меня призвали на военную службу, и я был уволен из Зырянской сплавконторы.

## ПЛАН

Степан Горохов на рваном шубуре, сквозь который в бока врезались драницы деревянной кровати, как бревно, катящееся под отток, прокрутился без малого до полуночи. Анисье, жене, надоело, что он вертится, словно веретено, и она ушла на печь, к дочери Феньке, семнадцатилетней раскосой девахе. Он теперь каждую ночь ждал: две недели прошло, как отправил в районную милицию «докладную», продиктованную Феньке. Послание было короткое и точно воспроизведено под его диктовку дочерью, проходившей в школу всего четыре года: - «Докладная собчаю што мой сусед Андрюха Житов врах народу материал товарища Сталина ейбогу не вру сусед».

Анисья, как добралась до печи, так и захрапела. Где тут заснешь? Уж трижды пустил в ее сторону громкие матерки, а ей хоть бы хны. А Степан ждал и боялся пропустить, как за заткнутыми подушками двумя окошками во всей избе заскрипит снег под полозьями милицейских подвод. Было, внезапно заснул, но мгновенно дернулся всем телом и опять начал диктовать с открытыми глазами, пока не сморил настоящий сон. И вновь ненадолго. От истошного крика у соседей, такого громкого, будто над самым ухом, Горохова подбросило над кроватью, и он заплясал босыми ногами на ледяном некрашеном полу. Вскоре на всю улицу, заглушая непрекращающийся вопль у Житовых, в настывшем воздухе небывало громко завизжал снег. «Как же я не услышал, когда подъехали?» — бессвязно пробормотал Степан, хотел сесть на кровать, но промахнулся ссохшимся задом и плюхнулся прямо на пол, однако не заметил этого и продолжал вслух: - «Слава те, господи! Слава те, господи! Бох знает, ково наказать».

Давно оборвался скрип полозьев милицейских саней, а к нарастающему реву Житовых он притерпелся, лишь многоступенчато выматерился в сторону печи - жена так и не проснулась, только оглушительным храпом соревновалась с воплем соседей, - и заполз на кровать, тут же провалившись в мертвецкое забытье. |

Под утро проснулся Горохов от того, что во сне увидел Андрюху Житова, тот внятно и громогласно говорил: «Спасибо тебе, Степан. И простит тебя Христос». И еще от того проснулся, что кто-то, когтисто вцепившись в его тщедушные плечи, что есть мочи, тряс его на кровати.

- Спаси, господи! Спаси, господи! —взмолился Степан благим матом и, окончательно просыпаясь, вдруг узнал Ульяну Житову. Соседка, потерявшая за ночь голос, сипела прямо ему в ухо:

- Иуда проклятый! Господа призываешь в помощь. Клеветник гнусный, это ты.

Андрея упек! Дом тебе наш все покоя не дает, отродье гадючье!

Горошиха, разбуженная диким криком мужа, спросонья грохнулась с печи, подскочила и, не разобравшись, в чем дело, сзади подоспела в помощь Степану: вцепилась в волосы соседки. Скоро они вдвоем выволокли Житову на крыльцо, и спихну ли в снег.

Полузамерзшую, дети утащили ее в дом, оттерли снегом руки, ноги и грудь. Ульяна прохворала до конца зимы, а в школу вместо нее прислали замену. Да ее и без того прислали бы. Так тогда, в тридцать девятом, и раньше, и позже велось. Хорошо, что семью «Врага народа» не сослали куда подальше, но, видно, из Сибири было уже некуда.

Оказавшись без средств существования, четырнадцатилетний Колька и двенадцатилетний Алешка Житовы стали работать в колхозе: надо было кормить больную мать и трех младших сестренек. Нинке-то еще десяти не исполнилось, но и то она дома и с коровой управляется и с курами (поросенка и овец сразу забрал у них фининспектор за какие-то недоимки), Лизке и того меньше — пять лет, а самой маленькой Зиночке — два годика.

С утра мальчуганы, сперва неумело, однако потом приловчились запрягать две подводы, выезжали за Чулым, на луга за сеном. Возы тоже быстро научились накладывать: Алешка стоял наверху и принимал навильники, а Колька подавал сено. Два раза, как мужчины, съездить за день не управлялись, силенок на полуголодном харче не хватало, но взрослые колхозники им сочувствовали, благодарны были ребятишкам и за такую помощь. С тридцать седьмого года по ночам милиция свезла в нети полдеревни. А в тех избах, где еще остались мужики, по ночам вслушивались в тишину, ожидая энкавэдэшников. Это давно вошло в привычку. Житовы и Гороховы с незапамятных времен жили по соседству. Избенки у тех и других были ветхие, невзрачные, в два окошка всего в одной стене, никаких прихожих и комнат, четвертая часть занята глинобитными русскими печами. Всей мебели — по деревянной кровати, по дощатому, разохшемуся и некрашеному, как и пол, столу и лавок вдоль трех стен.

Две — пошире, чтобы можно было на них спать. Житовы жили побогаче: у них было две табуретки, а у Гороховых — одна.

Родитель Андрея, Захар Житов, пробедовал две войны: японскую «от и до», и германскую тоже. В Вознесенку вернулся большевиком, уже после Октябрьской революции, и односельчанами сразу был избран председателем сельского Совета.

Отец Степана, Фома Горохов, год в год, месяц в месяц, только что не день в день, был ровесником Захара Житова. Японскую он прокантовался возницей у генерала, а от германской увильнул: натер правый глаз солью и лишился половины зрения. Недаром всех Гороховых испокон века дразнили Хитрованами.

В конце мая восемнадцатого года Советы в Зачулымье были порушены. Захар Житов остался не у дел, но до зимы его никто не трогал. В ноябре по всему Томскому уезду прокатились мобилизации в армию Колчака и сбор солдатских шинелей и привезенных многими с империалистической войны винтовок и патронов. Молодые парни стали разбегаться по таежным заимкам, тогда последовали карательные отряды. Они начали с уничтожения большевиков, советчиков и порки тех, кто спрятал сыновей призывного возраста от мобилизации.

В середине декабря в Вознесенку тоже явился белогвардейский отряд во главе со штабс-капитаном, молодым и громогласным. Три десятка розвальней с солдатами и офицеры в двух кошევках въехали в деревню задолго до обеда. Согнали всех к церкви. Штабс-капитан встречал мужиков и баб верхом на коне.

Троих большевиков и среди них Захара Житова со связанными за спинами руками сразу поставили к церковной стене. Народ ахнул, заволновался, по толпе прокатился громкий ропот: «Можно ли вершить эдакое святотатство?».

Штабс-капитан взмахнул нагайкой и с одних из саней коротко рывкнул в воздух пулемет. Еще никогда в Вознесенке не было такой тишины. Но тут же ее нарушило истошное верещание, трое солдат волокли под руки недвижимое тело Фомы Горохова. В нескольких

метрах от штабс-капитана они поставили его на ноги, однако, двое продолжали Фому поддерживать, чтоб не повалился. Третий доложил:

- Вашбродь! Вот нашли субчика, в подполье хоронился.
- Кто таков?
- А черт его батьку знает!
- Отпустить!

Солдаты расступились и тут, откуда сила и прыть взялись, Горохов кинулся бежать.

- Отставить! – взревел командир карателей.

Солдаты вновь подхватили Фому под руки.

- Я сказал – не держать его!

Солдаты опять расступились, а командир рявкнул Горохову:

- Большевик?
- Никак нет, ваше высокопревосходительство... – пролепетал вконец перепуганный Горохов.
- Понятно, – по-прежнему строго сказал командир карателей. – А почему в подполе прятался?
- Дык, со страху, ваше...
- Хватит! – оборвал штабс-капитан и продолжал: – Сейчас ты расстреляешь настоящего большевика. А нет, сам встанешь с ним рядом.
- Дык, я, дык... – снова заверещал Горохов.

Ему всунули в руки винтовку, повернули лицом к церкви.

Штабс-капитан вытянул руку с нагайкой вперед, махнул ею вправо. Солдаты этот жест поняли без слов, кинулись исполнять его волю. Они подскочили к Захару Житову, отвели его метра на три от остальных двух.

- Вот этого! – загрохотал над головой Фомы голос штабс-капитана.

Горохов поспешно вскинул винтовку к плечу, стал прицеливаться, но вдруг выронил ее и заблажил:

- Дык это сосед мой, Захарка Житов!
- Забыл, что рядом с ним встанешь? — голос штабс-капитана плетью просвистел над Гороховым.

Он поднял винтовку и трясущимися руками опять начал наводить на Захара.

– Пли! — скомандовал штабс-капитан.

Выстрел оглушил Фому. Теперь он сам откинул оружие в сторону и грохнулся на колени, поднимая правую руку, чтобы перекреститься за убиенную душу.

– Мазила! — рявкнул офицер, и солдатам:

– Этому двадцать пять шомполов, а того повесить на его же воротах и дом сжечь!

Молоденький подпоручик и несколько солдат подскочили к Захару Житову и, подталкивая штыками в спину, повели к собственной избушке, там начали торопливо ладить петлю на перекладине ворот.

Пока его вели, Матрена, жена, бежала следом, хватала солдат за локти, кричала:

– Сжальтесь, люди вы или нелюди?

Ее отталкивали, женщина падала, ползла вдогон, поднималась, не прекращая умолять карателей.

Когда Захара поставили под перекладину и начали накидывать на шею петлю, Матрена вцепилась в мужа, мешая солдатам, а те не могли ее оторвать от него втроем. Подпоручик рассерженным петушком приказал:

– Запереть старуху в дом!

Солдаты, с помощью четвертого, наконец, отволокли Матрену в избушку. Дверь приперли снаружи.

– Кончайте! - подражая штабс-капитану, вскричал подпоручик.

Потом:

– Поджигайте дом!

Видимо, свершив кару над человеком, солдаты забыли, что в избе его жена, и поспешно подпалили сено, разбросав его подле стен и на крыльце.

Ничего этого Андрей со Степаном, семнадцатилетние парни, как и все деревенские их возраста и старше прятавшиеся от мобилизации на дальней таежной заимке, не видели. Домой они наведались через месяц после набега карателей, когда съели весь продовольственный припас, а нового никто не доставил.

Степан подрос к похоронам отца. С того дня он так и не поднялся, спина его загноилась, потом стала чернеть от гангрены, и Горохов-старший скончался, лежа на животе. Прошли годы, и Степан уверовал и стал похваляться, что его отец погиб за Советскую власть.

Кое-как разжившись продуктами, Андрей со Степаном вернулись на заимку, а весной девятнадцатого года там образовался партизанский отряд. Сперва, сразу после Нового года, вознесенские мужики, оправившиеся от порки, всего человек пять, привели туда городского парня, высокого, худого, в очках. Назвали:

– Товарищ Серей.

В одночасье он с парнями познакомился и в долгие зимние месяцы рассказывал им о том, кто такие большевики и чего добивается большевистская партия; о Ленине они узнали от товарища Сергея почти все. Он сам встречался с главным большевиком в далекой заграничной стране Швейцарии, когда бежал из германского плена.

Степан все пропускал мимо ушей, а Андрей все впитывал в себя и запоминал так, что потом невозможно было ничем из него выбить.

В отряде Житов-младший с самого начала стал выделяться и в бою, и в таежной смекалке, когда скрывались от превосходящих сил карателей, а еды — ни маковой росинки во рту и зверя пристрелить — ни единого патрона. Штыком и прикладом ни сохатого, ни медведя не достанешь.

На первой же неделе, как отряд создался и еды еще не запаслись, Андрей встретился неподалеку от зимовья с медведицей, еще не нагулявшей на едва вылезшей колбе веса. Медвежата — трое, один прошлогодний пестун — тоже худющие, едва ноги волокут. Медведица-мать, не раздумывая, прыгнула на Андрея, а у того уже нож в руке. В тайге-то он с малолетства. Тогда-то и начала у Степана вызреть зависть к Андрею: сперва в зародыше, потом, всё нарастая, стала матереть, пока не залохматила, будто обросшая шерстью: вызверела, не добрее медведя-шатуна. У Степана, доведись расстреливать соседа и товарища детства, ни рука, ни душа не дрогнули б, как случилось с его родителем.

Особливо после прихода в уезд Красной Армии, когда всем партизанским отрядом построили Андрею с малыми братьями и сестренкой на пепелище их избенки большой пятистенный дом. Своя избушка рядом с ним показала Степану скотским хлевом. Скрипел зубами по всем нотам, а чего поделаешь? Везет не ему — соседу.

Выбирали председателя сельсовета, опять Андрюха Житов — свет в окошке. Все большевики еще с германского фронта пали в боях, а этот в большевики был принят. Степану же даже никто не предложил вступать в большевистскую партию. Да у него и духу не хватило бы пойти в нее. Это Андрюха такой рисковый. Везде хочет первым быть.

В двадцать первом году, в одну и ту же осень, они женились. Зависти Степана — новая пища: Андрюха Житов взял в супруги учительницу, а Горохов — такую же батрачку, как и сам. Оба голы, как соколы, пара — гусь да гагара, свело черта с дьяволом. А двойная зависть — ой, сила!..

Завидовал Степан, что Житова величали Андреем Захаровичем, а его, как в детстве — Степкой.

Завидовал Горохов даже уважению односельчан к Андрюхе: никто не проходил мимо него, не поздоровавшись, а на Степана и не глядели, его в деревне никто не любил, наоборот, многие презирали. Это презрение перешло на него от отца Фомы-одноглазого, часто норовившего нагадить любому в Вознесенке: оговорить, прилепить обидное прозвище, обмануть — все по мелочам, а это отталкивало.

Все эти замашки перенял от отца и Степан Горохов. С годами его зависть начала перерастать в желание. Загорелось Степану правдами и неправдами завладеть домом соседа, но верный план все не складывался. А он даже во сне придумывал этот план.

В двадцать седьмом году попридержало работу над ним одно непредвиденное обстоятельство. Степан тонул. Переправлялись через Чулым на заречные луга косить сено. Косили поврозь, а реку преодолевали артельно, в больших лодках. Человек по пять-шесть в каждой. Лодки хоть и большие, но не шибко устойчивые при таком предельном грузе, а запасу бортов над водой – на пол-ладони. Но вознесенцы, привычные к своей реке и к таким лодкам, испокон веку переправлялись на них через широкий и быстрый на стрежи Чулым.

В лодке, кроме Василия Житова, второго из братьев, были еще Степан Горохов и три бабы – две молодые и одна пожилая, лет под пятьдесят. Прежде, чем шагнуть в лодку, она стала мелко и часто креститься, приговаривая:

– Упаси, нас, осподи! Упаси...

А когда неловко уюстилась на днище, всем существом ощущая под тонкими тесинами скорый бег воды, проговорила, от преждевременного страха не попадая зуб на зуб:

– Не утопите, мужики, я вить плавать умею, как топор. Сразу на дно...

– Не каркай, мокрощелка! — прикрикнул Степан, тоже не без опаски устраиваясь с рулевым веслом на корме, он сам на воде чувствовал себя, как колун, не лучше той бабы.

В гребни сели Василий и одна из молодух, здоровущая, но рыхлая и неловкая, как вскоре оказалось. До заречного берега, высокого и обрывистого яра, тянувшегося без малого на полверсты, оставалось не более двух десятков сажень, когда у нее сорвалось весло и выскочило из уключины. Женщина потянулась за ним, лодка резко качнулась, через борт хлынула вода. Бабы повскакали со дна с подмоченными подолами, и суденышко, потеряв устойчивость, опрокинулось.

– Спаси-и-ит-е-е! — истошно заорали бабы в один голос.

Перевернулась лодка на самой стрежи: вода здесь стремительно проносилась мимо яра, закручиваясь в зловещие воронки и уносясь к противоположному берегу. Про такие места ходили легенды, будто в воронки человека засасывает, и он уже никогда на поверхность не выныривает. Обе молодухи, как умели, поплыли к берегу, а пожилая баба начала тонуть. Двадцатилетний Василий был заправским пловцом, он левой рукой схватил ее за волосы, а правой погреб к яру, зная, что глубина там доходит до самой кромки.

Степан Горохов вынырнул после всех, и растерявшиеся на берегу односельчане, долго его не видя, рассуждали:

– Чё-то долго Степки не видать.

– Наверно, он сразу утоп.

– Брось, этот Хитрован выплывет.

Прозвище Хитрован было еще у Фомы Горохова, а затем перешло к Степану и окончательно закрепилось за ним в партизанском отряде, где он всячески увивал от участия в боях, норовил остаться на стане: то кашеварить, то коней постеречь, то увезти туда трофеи при удаче отряда. Он и теперь на своем покосе литовкой редко махал. После гражданской войны осталось много вдов и подрастающих девок. Горохов приловчился

отбивать им литовки, а они ему и выкосят, и сено сгребут, и в копны его складут, и сметать в стога помогут.

От места, где вывалились из лодки, Степан вынырнул саженой на двадцать ниже по течению. Подхваченный стрежью, он был уже почти не виден. Первым его заметил кто-то из мальчишек, закричал:

– Вон Хитрован! Вон!

Андрей Житов прямо с крутизны прыгнул в ближайшую лодку и без рулевого весла сев на гребни, норовисто направил ее вслед за утопающим. В суматохе никто не заметил, что Василий уже вытолкнул на берег бабу и настигает Хитрована, голова которого, как конец топляка, то уходила в воду, то показывалась над поверхностью. Сразу нахлебавшись воды, Степан даже не орал, молча сносил свою участь.

Василий опередил старшего брата, вслед за ним повернувшего лодку к берегу, и тут с ужасом почувствовал, что обе ноги сводит судорогой. Изо всех сил он греб рукой, а острая боль в икрах уже притупила сознание.

Когда Андрей причалил к яру, то на узкой полоске песка увидел одного Степана. Подумал: «А где же Вася? На берег, наверное, успел подняться...».

А с яра из многих глоток ошеломленных людей донеслось:

- Утонул, сердешный!
- Кто утонул? — взревел Андрей, холодея от догадки, — где Василий?
- Утоп! Хитрована вытолкнул, а сам скрылся в воде.

Весь день Чулым против этого места цедили бреднями и неводом, а Василия Житова так и не нашли. Видно, вода опередила растерявшихся и утративших расторопность вознесенцев.

Рассуждали некоторые:

- Вот же, навоз остался, а добрый парень – канул.

Андрей Житов был председателем сельсовета и одновременно секретарем партийной ячейки. Сплошная коллективизация до Вознесенки дошла в тридцать первом году. Причулымский райком партии поручил проводить ее Житову вместе с ячейкой.

Секретарь райкома вызвал его к себе в Причулымское, находившееся на противоположном берегу реки. Низкорослый, толстый, как бочонок, с большой круглой и наголо обритой головой, блестящей, будто освещенной солнцем купол церкви, секретарь катался по просторному кабинету на коротких ножках и напутствовал:

– Ты закаленный партизан, умеешь владеть личным оружием, зайди в райотдел энкэвэдэ, там тебе выдадут наган.

- Зачем? — удивился Андрей.

– Коллективизация в стране встречает сопротивление. Не возьмешь крестьянина на притужальник, он тебе добровольно в колхоз не пойдет.

– А зачем крестьянину такой колхоз, ежели его туда загоняют?..

– Ты или наивен, или дураком прикидываешься! — оборвал секретарь, голос у него был густой и мощный, казалось, что не человек говорит, а грохочет весь кабинет: стены, окна, углы. - И учти, это требование самого товарища Сталина, мудро и дальновидно нацеливающего на сплошную коллективизацию. Пока вэкапэбэ требует, чтобы Сибирь завершила ее к весне будущего, тридцать второго года. До сева. Засеять мы обязаны не одиноличные лоскутки, а сплошные массивы без межей.

– А как же статья товарища Сталина «Головокружение от успехов» и прошлогоднее постановление цэка о борьбе с искривлениями партлинии? — напомнил Андрей Житов.

– Ты о чем? — загрохотал кабинет.

– Я? О нагане.

– Ты тычешь мне в нос мартовским постановлением цэка. Но запомни, что никто не отменял и январское постановление о темпах коллективизации.

– Ну, так я без нагана.

– Гляди, а то промахнешься, своей головой ответишь, — предупредил секретарь, - если хоть один вознесенский двор не вступит в колхоз.

К счастью Андрея Житова, таких не оказалось. В Вознесенке было много бывших партизан, а им почти вся деревня — родственники, которых сагитировали быстро и без особого нажима. Потом Андрей немало удивлялся: откуда в деревне оказалось столько «врагов народа» — каждый второй колхозник и поголовно из партизан. Его очередь на арест оказалась последней. Но это было потом.

Когда вознесенский колхоз имени Сталина убрал первый урожай и первым в районе выполнил план хлебозаготовок, пожаловал сам секретарь райкома партии, а председательствовал, на зависть Степану Горохову, Андрей Житов.

– Почему сегодня я не встретил от вас красного обоза? — загрохотал секретарь.

– Вчерась мы отправили последний, — с сияющим лицом пояснил Житов, ожидавший похвалы.

– Как так последний?

– Да так. С хлебозаготовками мы управились.

– Отправляй хлеб Родине и товарищу Сталину сверх плана.

– Нечего нам больше отправлять. Остались лишь семена да фураж на трудодни.

– Никаких семян и фуража, никаких трудодней! — фугасом взорвался секретарь.

— А как придет весна, чем сеять, на чем пахать? Кони-то отощают. А чё колхозники будут есть?

— Вопрос стоит так, что и у колхозников из их амбаров и ларей придется выгребать.

Андрею показалось, что сердце в груди оборвалось, и он закричал, не помня себя:

— Да вы что?

— А то, что товарищ Сталин указал обеспечить индустриализацию в достатке хлебом.

— Чем будем сеять будущей весной? — в отчаянии зашелся криком Андрей.

— Семенами колхоз обеспечит государство, а лошадей продержите на сене, — отсек дальнейшие возражения секретарь.

К декабрю ни у одного вознесенца в сусеках не осталось ни пригоршни зерна или муки, а припрятывать они не умели. Картошка же в то дождливое лето и осень погнила.

Сразу после хлебозаготовок Андрея Житова с председателями сняли за «сопротивление в проведении партийной линии».

К концу января следующего года начался голод. Люди по деревне ходили, шатаясь от истощения, многие лежали, раздутые водянкой до неузнаваемости.

В новом доме, построенном партизанами, Житовы жили большой семьей: у Андрея, после утонувшего Василия, оставались уже взрослые брат Афанасий и сестра Анна: с Ульяной у них были дети — Василий, Георгий, Николай, Алексей, Нина. И самому старшему исполнилось десять лет, а младшенькой — три годика. Все, что находили из еды, взрослые отдавали детям и слегли от водянки.

Первыми умерли от водянки брат Афанасий двадцати лет от роду и восемнадцатилетняя сестра Анна. Их хоронил сельсовет. Ладно, покойные не были еще в браке. Весной похоронили старшеньких их детей: десятилетнего Васю и девятилетнего Гошу.

Семью кормил семилетний Коля: он ходил на ближние луга и в холщовой школьной сумке покойного Васи приносил щавель, дикий лук, руками толкал траву в рот отцу с матерью и братишке с сестренкой. До отвала наедался прямо на лугах и сам.

Но по утрам мать все ж таки и зимою каждое утро поднималась и шла в школу, куда приходило несколько наиболее крепких учеников. Ульяна Максимовна первой начала и поправляться. Весь май она с сынишкой ходила на луга за щавелем и луком, а в лес — за сочными стеблями дикого гороха и пучками. Из них она варила суп и кормила мужа и детей. К лету всех подняла на ноги. К работе Андрей оказался способным лишь в сенокос.

И опять план Степана Горохова не сложился. Не успел он позавидовать тому, что Андрюху Житова выбрали председателем колхоза, как его сняли, и тут самого прихватила голодуха. Правда, мор обошел небольшую, из трех человек семью, хотя жена и дочь переболели водянкой, а сам сделался доходягой — кожа да кости. Весною вместе с

соседским Колькой, а потом и с Житихой тащился за щавелем и лучком, пучками и горохом.

У соседей помирали дети и родственники — завидовать было нечему: даже такому неисправимому завистнику, каким был Степан Горохов.

На следующий день после ареста Андрея Житова его соседу Степану Горохову случилось заехать на колхозный склад за причитающейся на трудодни пшеницей. Кладовщик, выдав ему два мешка зерна, сказал:

– Передай соседке Ульяне Житовой, пусть она тоже как-нибудь заберет свою пшеницу. Ей тут причитается центнер с двадцатью килограммами.

Степан даже онемел от неожиданности, но быстро что-то сообразил и невинно произнес:

– Дык, она шибко хвоя таперича. Лежмя лежит. А ты погрузи-ка ейные кули на мои сани, я и завезу их Житихе.

И сам кинулся помогать кладовщику. Пока ехал до дому, в голове услужливо зашевелились подленькие мыслишки. Из-за этого он не заметил, как, не останавливаясь возле соседского дома, проехал прямо к себе во двор. Недолго постоял там в раздумье и решительно начал стаскивать мешки, все подряд, в свой амбар, изнутри распаяясь против Житовых: «Сдюжат и без этого хлеба жинка и волчата врага народа. А может, и отдам когда-нибудь пашаничку, а счас нехай полежит, вроде бы на сохранении. Все одно Ульяна не в состоянии на мельницу съездить. А я, заодно, и смелю».

И смолол все четыре куля, хотя и не сразу, через пару лет, и опять не хватило решимости завезти соседский хлеб хозяйке: «Пускай маненько полежит».

С годами Степан и вовсе начал «забывать», чьи два мешка муки лежат в его амбаре. Теперь он их берег на черный день, ногодились они потом на его светлый день. Еще какгодились: остались овцы целы и волки сыты. Это и был его окончательный план овладения житовским домом. Оставалось только выбрать безпроигрышный момент.

И он наступил, правда, потребовались еще немалые годы ожидания и терпения Степана Горохова. Мучительные и долгие годы.

Но он терпел. К тому же и семья Степана не сильно обсеяла. Не в пример остальным вознесенцам, Гороховы в войну не бедствовали. И хлебец у них водился, правда, не честным трудом заработанный, такого тогда не выдавали, а темной ночью уворованный с артельных полей.

Не семеро по лавкам — себе хватало. А соседскую муку он берег. Для них же, для Житовых, на их черный день.

Суд над Андреем Житовым сотворился скорый: на допросах следователь ни о чем не опрашивал, только всю неделю из ночи в ночь бил.

Потом, измочаленного и отощавшего пуще, чем в голодуху, двое красномордых детин держали его на стуле, а следователь Андреевой рукой на протоколе с «признанием» вывел закорючку, и утром, поддерживая, чтобы не упал, Житова привели в суд. Лица «тройки» сливались в его затекших кровью глазах. Из приговора на всю жизнь врезались слова: за

антисоветскую и троцкистско-бухаринскую деятельность и шпионаж в пользу милитаристской Японии приговорить к высшей мере наказания, но, учитывая добросердечное признание и явку с повинной, расстрел заменить двадцатью пятью годами заключения.

За первые десять лет Андрей Житов изучил гигантский материк Гулаг вдоль и поперек на всех его необъятных пространствах от Томска до Магадана, от мутного желтоватого Чулыма до холодного золотого Алдана, а слышал, что еще были Соловки и весь север России, Сибирь западнее Томска, Урал и Казахстан. На оставшие восемь лет он обосновался в одном из леспромхозов, за колючей проволокой в Красноярском крае близ станции Решеты. Все восемнадцать лет заключения он осваивал природные богатства Родины, крепил фронт, ненавидел фашизм, содержащий в своих лагерях смерти миллионы узников, миллионы наших военнопленных, от которых решительно отказался «отец народов», объявив их поголовно предателями, а потом, после войны, перегнал их в свои севлаги, сиблаги, дальлаги и тысячи иных лагов. Масштабы куда величественнее фашистских!

Ульяну Максимовну до школы больше не допустили: к лету поправившись, с четырнадцатилетним Колей и двенадцатилетним Алешей она стала работать телятницей. Сами за скотиной ухаживали и все лето пасли.

По осени на выпаса наведывались упитанные и краснощекие мужики — кровь с молоком, они деловито показывали пальцами на самых рослых питомцев Житовых, и бычков увозили в районный центр, среди войны образовавшийся в Зачулымье. Эти мужчины очень заботились о своих желудочно-кишечных трактах, язвы опасаясь наравне с фронтом, а, как выяснили врачи, телятина предохраняет от этой страшной болезни. Постепенно, за годы войны, Ульяна Максимовна всех узнала по рангам и чинам. То были исключительно ответственные работники райкома партии, райисполкома, МТС, и прочая и прочая, и среди них не оказалось ни единого врага народа. А многие вознесенцы узнавали на этих чинах то своей выделки и собственного пошива полушубки, то своей вязки теплые шерстяные рукавицы, то самокатные валенки, отданные для фронта. После, по темным военным ночам, безутешно голосили о том, что не досталась родимым мужьям и сыновьям одежда и обувь. Видно, они сказались нужнее тут, за тысячи верст от фронта. Чины и высокого ранга главы районного масштаба умели беречь не только свои желудочно-кишечные тракты.

Но Ульяна Максимовна еще не догадывалась, что главный ее и ее детей радетьель — не они, а сосед Хитрован, то - бишь, Степан Фомич Горохов.

Зимами Житовы, начиная с Нового года, по- черному голодали. Колхоз не давал ни маковой росинки, а то, что брали с огорода, от поросенка, от коровы да пяти овецек - отдавалось в помощь фронту: топленое масло, мясо, яйца, овчины, свиные кожи, шерсть, вязаные вещи; плюс денежные налоги и неумолимые займы.

Спали на досках, лавках, печке, бросив под бока рваные шабуры, не снимая холщовых портков и платьев, укрывались ветхими обтреханными дерюжками. Одного Ульяна Максимовна не могла понять: как выдюжили и все остались живы, хотя к концу каждой зимы она вновь и вновь переносила водянку, а детей беспрестанно трепала лихорадка, прихватывала их и дистрофия. Однако появлялись на лугу и в лесу травы, и все быстро выздоравливали. Но все равно зимою, несмотря на дистрофию и водянку, все Житовы кто работал в колхозе, кто учился.

Через «не могу» крепили тыл, снабжали фронт. Старшие сыновья – Николай и Алексей, ушли на войну.

Хитрован тихой сапой подкрался к Житовым в середине войны. Голодная болезнь в ту зиму сорок второго — сорок третьего навалилась на них особенно люто. Из их дома уже больше недели никто не выходил даже на работу, не говоря уж о школе. Нечего поесть, нечего одеть, обносились, едва не догола.

Впервые в жизни Горохов зашел в житовский добротный дом, стены которого даже не успели посереть.

– То ли все на работе, а дверь не заперта, – притворно заговорил он.

Никто не отозвался. Из прихожей Горохов прошел в горницу. Ульяна Максимовна и все пятеро детей лежали кто на печи, кто по лавам, а сама хозяйка — на широкой деревянной кровати. Печь была добротная: высокая и гладко обмазанная, до лоску побеленная местной глиной, как и стены с потолком.

Хозяйка, молча и равнодушно, наблюдала за внимательно озирающимся соседом. А тот, выждав время, заговорил опять:

– Слышь-ка, Максимовна, есть у меня два куля мучки пшаничной, ишо довоенной.

– Есть-то у тебя, а не у нас, — едва слышно и вяло промолвила Ульяна Максимовна.

Степан нетерпеливо потоптался на месте, потом сказал:

– Дык, хочу тебе их предложить.

В избе затаилось долгое-предолгое молчание. Первой его разрушила Житова:

– Говори, чего тебе за муку надо?

В её голосе Горохов чутко уловил решимость.

– Дык, тебе одной - то шибко чижало избу отапливать.

– Я не одна, но тебя поняла. Мы согласны. Думаю, Андрей нас поймет.

У Житовой сразу окреп голос, в глазах засветились живые угольки.

– Дык, давай, я прям счас и помогу тебе переташшиться в мою избу, – немея от радости, заторопился Горохов.

– А чего у нас перетаскивать? Помогите мне подняться, да детей перенести.

– Ага, я счас...

Степан засуетился, не соображая, с чего начать.

– Сперва мне помощи, – подсказала Житова.

– Ага, счас, он засеменял к ее кровати, говоря, сообразив, что кровать, хоть и старая, но получше и покрепче, чем его, – кровати-то, поди, неча туды-сюды перетаскивать.

– Согласна, – экономя силы на словах, произнесла Ульяна Максимовна.

Мука сулила жизнь всей семье.

План, столь долго Гороховым вынашиваемый, в те февральские дни осуществился. Зависть к соседям ласковой кошкой свернулась в колечко и заснула легким сном. Возможно, навсегда.

Андрей Житов, несмотря на все старания режима, не сгинул. Весной пятьдесят седьмого года он вернулся в Вознесенку, к семье, пройдя за восемнадцать лет две трети территории материка под названием Гулаг.

Встретив мужа в ветхой, когда-то соседской избушке, Ульяна безутешно, по-бабьи взывала.

– Не осуждаю, – сказал Андрей, – хоть сами выжили и то ладно.

Обнимая жену и бережно глядя ее острые лопатки деревянными от каторжной работы ладонями, он окончательно успокоил:

– На двоих нам и этой халупы хватит,

Сын Николай в сорок пятом году, накануне победы, отдал свою жизнь за Родину – в Германии.

Сын Алексей в сорок пятом же сложил голову при освобождении Порт-Артура.

Трое дочерей – Нина, Елизавета и Зинаида, – выросли и вышли замуж.

Ульяна Максимовна дождалась мужа одинокой, постаревшей женщиной, хотя и была младше Андрея на два года. Пятьдесят четыре – возраст предпенсионный, но кто в колхозах уходит на заслуженный отдых в эти годы и сколько за свой тяжкий труд получает? Был-то пятьдесят седьмой на календаре.

В лагерях режима и Андрей Житов многожды перенес и дистрофию, и водянку и иные смертельные болезни, вроде цинги.

С соседом они друг от дружки глаз не отворотили с первой встречи.

Правда, разговаривать, хоть и скупно, начали лет через десять. Андрей Житов пережил Степана Горохова на десять лет, и за несколько месяцев шибко-то не наговорились. Так, перебросились парой десятков слов.

Май 1988 г.

### «Он бился сам и описал, что мог!»...

Он был талантливым поэтом, человеком энциклопедически образованным. Но при жизни ему удалось стать автором лишь одного поэтического сборника. Больше выпустить не дали.

Давид Львович Лившиц родился 17 августа 1911 года в г. Каинске (ныне г. Куйбышев, Новосибирской области) в семье врача. Но жизнь его во многом была связана с Томском.

С Томском связана вся богатая испытаниями жизнь поэта. Он получил блестящее для того времени образование — сначала в Томском архитектурно-строительном техникуме и университете, затем в Московском институте истории, филология и литературы имени Чернышевского.

На каких только работах он себя не перепробовал! Преподавал в ФЗУ, строил завод дорожных машин, выпускал заводскую многотиражку.

С февраля по август 1934 г. Давид Львович был, например, ответственным секретарем газеты «Красное знамя» и руководителем литературного кружка при редакции газеты.

После окончания исторического факультета Института истории, философии и литературы он год работал научным сотрудником кабинета древних рукописей Московского исторического музея, был руководителем лектория на станкостроительном заводе им. Орджоникидзе.

С началом войны работа кабинета древних рукописей была свергнута, и Д. Л. Лившиц возвратился в Томск. Здесь с декабря 1941 по февраль 1942 г. он работал преподавателем истории в музыкальном училище.

В своей автобиографии 12 марта 1959 года он сухо писал: — «С февраля 1942 года по март 1946 года находился в рядах Действующей армии в качестве командира стрелковой роты, первого помощника начальника оперативного отделения штаба краснознаменной дивизии, секретаря дивизионной газеты. Имел два ранения и две контузии.

Был награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями. На фронте в январе 1943 г. был принят в члены КПСС... Во фронтовой прессе часто печатались мои стихи, очерки и рассказы о боевых подвигах советских людей. Многие перепечатывались в тылу, в том числе газетами «Красное знамя», «Советская Сибирь», журналами «Сибирские огни», альманахом «Огневые дни».

Для разрядки — небольшое отступление. Давид Лившиц начал писать стихи еще в школьные годы и в 15 лет, в 1926 г., в детской газете Западно-Сибирского края «Юный ленинец» опубликовал свое первое стихотворение. Оно было посвящено, конечно, Сибири.

После демобилизации, с марта 1946-го по сентябрь 1948-го, Д. Л. Лившиц работает старшим преподавателем кафедры истории СССР в Томском государственном университете, одновременно является директором областного лекционного бюро. В эти же годы он был руководителем литкружка при ТГУ, руководителем исторической секции

областного лекционного бюро, секретарем исторической секции Томского отделения общества по распространению политических и научных знаний.

Далее, в той же автобиографии, Д. Л. Лившиц сообщает: – "С момента демобилизации мною была опубликована поэма " На Запад!" (альманах «Томск»), книга "Стихи военных лет", напечатано несколько стихотворений в газетах, альманахах и журналах, в том числе в "Сибирских огнях» и «Звезде».

Особо следует остановиться на единственном прижизненном поэтическом сборнике Д. Л. Лившица – «Стихи военных лет», отредактированные томским литературоведом Н. Ф. Бабушкиным, предпославшим теплую вступительную статью, в которой писал: «Отзыв читателей и критиков уже не раз был обращен к поэту, почему данный сборник и следует рассматривать, как творческий ответ Лившица своим читателям».

Фронтная поэзия Давида Лившица — лирического склада. Поэт из сырого окопа умел увидеть и зеленую травку на его бруствере, и заметить тишину в перерывах между боями, и оценить красоту солнечного заката:

«И я бы руки ввысь простер

Туда, где, в небе хорошея,

Над паутинкою траншеи

Взметнется огненный костер...»

Главное достоинство поэзии Д. Л. Лившица — не показной патриотизм. Нет в ней ни единого упаднического стихотворения, вся она звала только вперед, на заклятого врага, сапогом и железом топтавшего нашу землю. Но победу будущую Лившиц связывает с именем Сталина: «Сталин — наш отец», «отец народов», «величайший полководец, всех времен и народов» — всех подобных эпитетов просто невозможно перечислить. В целом ряде его стихотворений встречается горделивое и любовное упоминание Сталина. И это не вина, а беда не одного Д. Л. Лившица.

Продолжал публиковаться в «Сибирских огнях», «Звезде», альманахе «Томск». В 47-м вышел его первый поэтический сборник.

Но продолжу рассказ о поистине драматической жизни поэта. 11 августа 1950 года поэта арестовали. Прием был четко отработан ещё с 20—30-х годов: ночь, оглушительный стук в дверь, обыск, увод в следственный изолятор, следствие... В своей жалобе на имя Председателя Верховного суда Союза ССР от 18 марта 1955 г. поэт писал: «Следствие никакими материалами, порочащими мое творчество и предшествующую деятельность, не располагало. Попытки обвинить меня в космополитизме и национализме сразу же оказались тщетными. Более двух недель мне вообще не могли предъявить никакого обвинения...

Следствие по моему делу велось недобросовестно, явно тенденциозно, с применением незаконных приемов.

Сразу же после ареста меня бросили в карцер. 3 месяца следователь — майор М. П. Елсуков — не давал мне спать, материл меня при каждом ответе «нет» и «не знаю», угрожал самыми свирепыми карами и репрессиями семье. Иногда он доводил себя до иступления,

создавая иллюзию, что вот-вот прикончит меня... Дважды он пытался применить физическую силу...

Были случаи, когда следователь требовал, чтобы я дал заведомо ложные показания о лицах мне известных, но о которых я не знал ничего компрометирующего. Эти требования также сопровождалось декларациями о том, что эти люди якобы уже дали обо мне такие показания, которые даже он, следователь, считает преувеличенными и что мне, поэтому не следует церемониться с ними. И когда я отказывался наотрез, он заявлял мне: «За это я вам удвою срок и загоню в такое место, куда Макар телят не гонял!» (Не потому ли я был направлен в Озерлаг, откуда жалобы можно было писать только раз в год, я письма — 2 раза в год?)

Так фабриковал мое дело следователь Елсуков, который, кстати сказать, слова «космополит» и «жид» считал идентичными. Всякий протест против антисемитизма он расценивал как антисоветское деяние. Слово «пережиток» он упорно писал через «д», доказывая, что корнем его является слово «жид»...

Вообще не приходится говорить о том, насколько абсурдны и нежизненны все, притянутые следователем за волосы, попытки обвинить меня в национализме. Достаточно сказать, что я родом — сибиряк. А в Сибири никогда не было антисемитизма. Еврейское население было незначительным и в большей части — ассимилировано. Еврейский язык не был в обиходе, и я его не знаю, так как в семье говорили только по-русски. С молоком матери приобщался я к русской культуре. И писателем я был русским...»

На основании сфабрикованного майором Елсуховым обвинения Д. Л. Лившиц 2 декабря 1950 г. по статье 58-10 часть 1 УК РСФСР (антисоветская пропаганда) был приговорен к десяти годам лишения свободы, и пять из них отбыл в Озерлаге.

В 1955 году поэт был освобожден, но не реабилитирован, и не мог устроиться на работу: никуда не принимали. Реабилитация последовала лишь в октябре 1958 года.

Из лагеря поэт привез две толстые тетради, но в них были фронтовые стихи, которые он лишь совершенствовал.

Второй поэтический сборник Д. Л. Лившица — «Сердце в строю» — вышел через 20 лет после первого — в 1967 году, когда поэта уже не было в живых. И вновь это были фронтовые стихи.

Лишь 31 января 1962 года была принята к постановке Томским драматическим театром его крупная драма в стихах «Университетская роща». Как в Томске, так и в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Омске, Рязани ее спектакли шли аншлагом. Это была первая собственная пьеса в истории Томского театра.

В конце жизни, рано оборвавшейся из-за тяжелой и продолжительной болезни, Д. Л. Лившиц летом 1963 года создал пьесу в прозе под названием «Девиз Эскулапа», главными действующими лицами ее, как и в «Университетской роще», были преподаватели и студенты. Пока она не опубликована и не поставлена ни одним театром.

28 февраля 1964 г. в возрасте 52 лет Давид Львович Лившиц скончался. Из его биографии следует, что Д. Л. Лившиц был великим тружеником, всего, что он успел сделать, постоянно находясь в работе, хватило бы на жизнь не одного человека.

Итог своей жизни поэт подвел задолго до смерти в стихотворении "Послесловий», завершающем книгу «Стихи военных лет». Вот его окончание:

"...И пусть мой путь был временами горек,

Я счастлив, что прошел его,

хотя бы как историк,

В скупые строчки песен и поэм.

Что можно так мой

подвести итог:

- он бился сам, и описал,

что мог!

1991 г.

### ЖЕНЩИНА ИЗ КЕНГИРА

В книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» есть глава «Сорок дней Кенгира», рассказывается о сопротивлении заключенных сталинской Системе. Не сомневаясь в достоверности произведения Солженицына, не надо забывать, что писатель имеет право на домысел и собственную интерпретацию событий. Совсем иное дело, когда о них рассказывает подлинный их участник.

И вот члены Томского областного историко-просветительского общества «Мемориал» слушают страшный рассказ пожилой женщины — бывшей узницы Кенгира.

1.

3 января 1948 года в три часа ночи старая Она Юрявичене троснулась от стука в дверь. Дом битком был набит ее взрослыми детьми и малолетними внуками. Она считалась его хозяйкой и главой семьи. Ее муж, Лауринас Юрявичюс, был рыбаком и погиб в море еще в 1928 году. Вдова одна поднимала на ноги шестерых детей: старшей из них, Софии, исполнилось тогда 17, Терезе — восемь, а остальные были мал-мала меньше. Теперь с нею жили Тереза с четырехлетним сыном и семилетней дочкой, дочь Марите; сын Адольфас и внук Ионас.

Дверь содрогалась от ударов прикладами, в любую минуту могла слететь с петель. Старая женщина отодвинула засов, и тотчас в комнату ворвались солдаты. Первыми проснулись дети но, ничего не понимая от страха, затаились, а офицер орал, как в воинской казарме:

— Подъем! Подъем!..

Двадцатичетырехлетняя Марите спросонья, подумала, что в Литву снова вернулись фашисты, однако офицер кричал по-русски. Он давал на сборы всего полчаса и разрешил взять с собою вещей и продуктов не более двадцати килограммов на каждого человека. Офицер торопил. Всю семью вытолкали из дома. А во дворе уже хозяйничали какие-то

люди: они уводили двух коров, свиней, овец, грузили на телеги оставшиеся вещи, нажитые многолетним тяжелым трудом. Старая Она упала, потеряв сознание. Офицер приказывал ей встать, но у нее не было сил подняться. Какой-то ретивый солдат, из не нюхавших на войне пороху, подскочил к женщине и направил ей в спину карабин. И тут четырехлетняя внучка Ионас упал на бабушку, и в отчаянии закричал:

— Не дам!

Солдат, матюкаясь, отошел, тогда другие положили Ону на телегу поверх вещей.

2.

Ону Юрявичене и ее внуков до центра Паланги, где находился городской отдел НКВД; везли на телеге, а взрослые дети шли за подводой пешком. Здесь всех семерых догрузили в кузов автомашины и привезли на станцию города Кретинга, загнали в товарные вагоны. С двух сторон прохода напротив двери были нары, на которых разместились женщины и дети, мужчины — под нарами.

В вагоне была чугунная печка, но ни дров, ни угля не дали. В Литве, с ее теплым климатом, зимней одежды не требовалось, и все были одеты легко. Но когда эшелон с репрессированными пошел по России, а позже и по Сибири и начались жестокие январские холода, стены вагона обледенели, люди стали жестоко мерзнуть.

Своих продуктов хватило лишь на две недели этого мучительного пути, а охрана эшелона сосланных питанием не обеспечивала. Люди лежали на нарах, совершенно истощенные. Воды давали тоже совсем мало, ее делили между всеми по глотку. Дети лизали солоновато-горький лед; уже толстым слоем покрывавший стены вагона.

В Новосибирске эшелон сделал остановку, всех погнали в баню, где белье и все вещи велели оставить для прожарки в дезинфекционной камере. Когда получали одежду обратно, те, у кого были теплые свитера и другие шерстяные вещи, не обнаружили их.

В Томок эшелон из Литвы прибыл в конце января. Трещали сорокаградусные морозы. Семью Оны Юрявичене поместили сперва на Черемошниках, а затем перевели в барак по переулку Школьному. Старших детей сразу выгнали на работу. Легко одетых и обутых, их заставили копать канализационные траншеи трех-четырёхметровой глубины в центре города, на проспекте Ленина.

— За первый же месяц, — говорит Мария Юрявичюте, — нам с сестрой выдали по двадцать пять рублей, а брату — семьдесят пять. На такие деньги в полуголодном Томске с четырьмя иждивенцами на руках можно было влачить жалкое, голодное существование.

В Томске же в 1948 году дети и внуки похоронили, не выдержавшую выпавших на ее долю испытаний, Ону Юрявичене. Она умерла вдали от родины своих предков, в тяжелой неволе.

3.

— В 1951 году. — продолжала свой рассказ Мария Юрявичюте, — мы жили уже в деревянном доме по улице Октябрьской, в подвале. К этому времени мы близко познакомились с местными жителями. Я любила петь, и они научили меня петь русские

песни. Кроме своих, литовских, песен, я часто пела полюбившиеся мне «По диким степям Забайкалья» и «Степь да степь кругом...».

16 мая, ночью, в нашу квартиру ворвались чекисты, объявили, что я арестована, начали обыск. Перевернув все вверх дном, попортив стены и печь, но не найдя ничего ценного для себя, они изъяли 107 писем, полученных из Литвы, книги, молитвенники, альбомы, тетрадь, в которой были записаны русские песни. Во время следствия в вину мне поставили прежде всего, участие в собраниях религиозной организации на родине, о чем сообщил тамошний отдел НКВД. И еще то, что литовские мои подруги по гимназии в своих письмах спрашивали меня, скоро ли я вернусь домой, а я им отвечала, что это произойдет, когда погаснут красные звезды. И еще — пение безыдейных русских песен.

Следователь лейтенант МГБ Челноков добивался от девушки, чтобы она назвала всех людей, с которыми состояла в одной «антисоветской фашистской организации», сфальсифицированной НКВД. Он требовал назвать ее руководителей.

— Но в антисоветской организации я никогда не состояла, — говорит Мария Юрявичюте, — поэтому и назвать мне было некого. Томское управление МГБ в те годы находилось на улице Розы Люксембург. Камеры, в которых содержались подследственные арестанты, были в подвале. Три месяца, без перерывов хотя бы на одни сутки, шел допрос только по ночам, а днем не давала ни спать, ни даже лежать. Я бы никогда не поверила, что можно не спать подряд три месяца, если бы не испытала этого сама. Но признания, какого добивался следователь, он от меня не получил. Тогда меня перевела в большую тюрьму, что находится на Иркутском тракте.

За два месяца до суда Марате Юрявичюте из тюрьмы перевели на новое следствие в подвал Томского МГБ.

Лейтенант Челноков, ничего не добившись, применил испытанный прием, а попросту - сфальсифицировал дело. Перед судом он зло бросил:

- Пойдешь в заключение на двадцать пять лет!
- Лучше я отсижу эти годы, чем клеветать на невиновных, - заявила Марите.

В марте 1952 года ее судил военный трибунал. Ее обвинили по статье 58-й (пункт 1-а и пункт 11). И, как предсказал следователь Челноков, всего за полчаса приговорили к двадцати пяти годам лишения свободы с содержанием в лагерях.

#### 4.

Из Томска ее этапировали в Кенгирский лагерь политических заключенных, находившийся в Карагандинской области, в Казахстане, в 12 километрах от г. Джезказгана. Теперь этот лагерь широко известен всему миру по произведению А. Солженицына.

Марите Юрявичюте прибыла туда в апреле 1952 года.

— В лагере, — рассказывает она далее, — содержалось около девяти тысяч мужчин и три тысячи женщин.

Он был разбит на три секции, в каждой — политические заключенные. Каждая секция от других была отгорожена шестиметровыми саманными стенами.

Летом 1954 года в Кенгирском лагере произошло восстание. Заключенные требовали, чтобы с их одежды сняли номера, а с барачков — замки, навешиваемые в ночное время. Были и другие требования, но лагерная администрация не хотела их выполнять. К тому же перед этим конвоир дал очередь из автомата по мужской колонне и убил несколько человек.

Заключенные объявили забастовку, не выходили на работу три дня. Тогда администрация пообещала удовлетворить их требования, и они вышли на работу. Но их обманули: с женщин сняли номера и замки с их барачков, а с мужчин — только номера, но на ночь их снова заперли. Проработав всего один день, забастовал уже весь лагерь. Мужчины перекинули через стену в женскую секцию записки, просили поддержать их.

Восстание продолжалось больше месяца. К концу этого времени лагерь был окружен в три ряда войсками.

Однажды внешняя стена лагеря во многих местах оказалась пробитой извне. А на рассвете следующего дня в лагерь ворвались танки и солдаты с автоматами. Перепуганные, полусонные люди высыпали из барачков, и танки врезались в толпу, давили всех, кто попадался по пути, на гусеницах танков вращались человеческие головы, руки, ноги. Автоматчики тоже стреляли, и скоро вся территория лагеря была усеяна окровавленными трупами.

Мария Юрявичюте заканчивает свой рассказ:

— После расправы нас выгнали в степь, пока трое суток в лагере заматали следы жестоких убийств. А нас все это время держали под палящим солнцем, кормили всего один раз в день, воды тоже давали один раз.

Подавлением восстания руководил некто Долгих.

После подавления восстания женщин расконвоировали. Летом 1955 года Марите перевезли за двадцать пять километров от Кенгира на строительство нового города Никольска. Там она вновь, как и в Томске, была землекопом, работала на сборке щитовых домов. И здесь строительство было окружено колючей проволокой.

В начале 1956 года снова этап — в г. Балхаш. Тут и застал ее XX съезд партии, и пришло желанное освобождение. Возвращение на родину? Но, оказывается, срок пребывания в ссылке, под надзором комендатуры, еще не окончился, и Марите Юрявичюте вернули в Томск.

\* \* \*

Недавно бывшая узница вместе с братом Витаутасом вновь побывала в нашем городе. Витаутас Юрявичус в ту трагическую для Литвы пору тоже был арестован и восемь лет отбыл в калымских лагерях.

Вместе с большой группой жителей Литвы они прибыли сюда за останками своей матери, похороненной на кладбище в районе Томска-2.

Но могилы они, к сожалению, не нашли.

1990 г.

